



Александр Абрамович Кабаков

Последний герой

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130233
Александр Кабаков. Последний герой: АСТ, Астрель; Москва; 2011
ISBN 978-5-17-071527-5, 978-5-271-32632-5*

Аннотация

Типичный «кабаковский» герой – настоящий мужчина. Вот и в романе «Последний герой» он остается таковым, даже когда просто размышляет о будущем, которое видит порой ужасным, а порой прекрасным...

Эротические сцены и воспоминания детства, ангелы в белых и черных одеждах и прямая переписка героя с автором... Автор предлагает читателю острый коктейль из бредовых видений и натуралистических картин ломки привычной жизни в середине 90-х, но... всегда оставляет надежду на счастливый финал.

Содержание

Пролог	4
Часть первая. Паспорт на предъявителя	5
1	5
2	12
3	18
4	24
5	30
6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Александр Кабаков

Последний герой

Пролог

Он, еще голый, сразу шел к стоящей в нише у самой двери маленькой плите, зажигал газ под кофеваркой, с вечера заправленной кофе и залитой водой, – будучи педантично аккуратным и бессмысленно рациональным смолоду, с возрастом приобрел к распорядку и мелким обычаям страсть непреодолимую. Огонь тихо шипел, а он шел в душ, открывал воду несильно – чтобы не будить ее, туго свернувшуюся, спрятавшую в подушке лицо от холодного утреннего солнца, лезущего в комнату сквозь щели старых перекошенных жалюзи.

Она, как всегда, просыпалась тяжело, капризничала. Ну, еще две минутки, просила она, по-детски показывая два указательных пальца, две минутки, ляг со мной, согрейся и меня согрей, пожалуйста, две минуточки.

Кофе остынет, говорил он, ложась, прижимаясь, согревая и согреваясь. Она уже не спала, двигалась, тихо постанывала.

Под окном скреб по тротуару, расставляя маленькие плетеные стулья и тяжелые мраморные столики, знакомый вьетнамец – кафе было слишком дорогое, но в конце недели они иногда ужинали здесь, если заработок был приличный и можно было позволить лишние полсотни, чтобы сразу после еды подняться к себе, лечь, включить вечерние новости, взять в постель бутылочку хорошего белого, обняться, дремать, просыпаться, снова дремать.

Потом, подняв жалюзи, они пили кофе. В окне справа мутно сверкали кони на мосту Александра Третьего, слева заслонял все небо купол Инвалидов.

Он отправлялся на работу. Бобур кипел. Накалялся под берущим дневную силу солнцем корабельный дизель дэка имени товарища Помпиду (старая Володькина шутка вроде названия Парижск). Независимо от того, щедрой или нет казалась публика, к вечеру у каждого из площадных артистов набиралось примерно одинаково – сотни две-три. Ну, за исключением звезд... Избранная им как объект страстного, но бессловного объяснения в любви немецкая или голландская туристка, как правило, тоже очень немолодая, в седой стрижке, охотно подыгрывала, ее товарищи по групповому туру охотно смеялись и клали деньги.

Она отвозила в издательство очередную порцию корректуры, брала новую. Иногда удавалось сразу выудить из старой Оболенской сотню-другую за прошлый месяц.

Ночью он думал о том, что было, о том, что едва не отняло у него такой финал. Она уже спала, счастливая, а он все вспоминал, вспоминал... Но наконец засыпал и он, уже перед самым провалом, беспамятством радуясь: а все же всплыл, поднялся. Это она, уже во сне думал он, пока любишь – плывешь... И он плыл, как не плавал никогда в прежней жизни, и спал крепко, как прежде не спал.

Часть первая. Паспорт на предъявителя

1

В то лето я почувствовал, что наконец начинаю пропадать.

Мысль о неизбежности падения, точнее, ощущение этой неизбежности, или, еще точнее, навязчивая идея социального падения возникла очень давно и отнюдь не только под сюжетным влиянием многих романов, пьес, очерков и рассказов, но – и, возможно, прежде всего – как нечто уравнивающее реальную основу моей жизни: с детства проявившуюся склонность к упорядоченности, устроенности, некоторой степени средненности. Так довольно часто агрессивная мужественность связана с тайной склонностью к половой перверсии, и здоровые мужики щеголяют, запершись, в дамских трусиках и туфельках сорок четвертого размера на каблуках. Кстати, где они их берут? Женская обувь, как правило, заканчивается на сорок первом даже в англосаксонских странах.

Я родился в самый разгар века и его главной войны. Появление мое на свет оказалось побочным результатом некоторых стратегических решений главного командования инженерных войск, в которых в чине лейтенанта и в должности командира роты служил мой отец. Часть, довольно потрепанная авиационными налетами на строившийся ею укрепленный район, была отправлена в глубокий тыл, за Урал, на переформирование. Мой отец, Иона Ильич Шорников, послал телеграмму моей будущей матери, жившей со своей матерью, сестрами и братьями в Омске, куда они все были эвакуированы из Москвы. Мать выпросила отпуск на заводе, где работала счетоводом, и, втискиваясь на пересадках в скользкие от заледеневшей мочи вагонные тамбуры, поехала куда-то под Челябинск, показывая станционным комендантам телеграмму примерно такого содержания: «До марта нахожусь отдыхе срочно выезжай помощью комендантов Иона». Адреса, по которому матери следовало срочно выехать, в тексте не было, и она поехала просто по указанному на телеграфном бланке в графе «пункт отправления», надеясь, что в маленьком поселке часть отца разыскать будет нетрудно. Коменданты – возможно, польщенные тем, что все свои надежды на встречу с молодой и, видимо, любимой женой какой-то офицер связывает только с ними и с их добрым могуществом, – действительно иногда помогали матери, но чаще всего она попадала в нужный ей поезд собственными силами...

Забегая вперед, скажу, что вообще историю своей семьи я знаю очень плохо, поверхностно, без деталей. Причин тому несколько, первая из которых – почти полное отсутствие во мне любопытства к собственному происхождению. Вероятно, тут и есть начало процесса, сделавшего меня полнейшим в семействе вырожденком уже годам к двадцати, вырожденком в строгом, без оценки, смысле этого слова: профессия, интимные и бытовые склонности и, как итог, судьба – все в моей жизни было и остается абсолютно непохожим и даже противоположным обычным профессиям, устройству душ, быту и судьбам других членов довольно большой, особенно со стороны матери, фамилии. Соответственно, и мои родители, и бабушка (по маме) не слишком старались обратить меня к корням, бессознательно, вероятно, принимая мою отдельность. Ну и, кроме того, не исключено, что в их почти безразличном отношении к моему отпадению от рода сказалось понимание, что рода-то никакого особенного нет и нет причин корнями так уж интересоваться. Никого хотя бы отчасти выдающегося: ни городского сумасшедшего, ни лучшего в деревне печника, ни оголтелого картежника, ни, уж конечно, кого-нибудь более существенно преуспевшего среди людей.

...Итак, мать приехала в этот поселок, назовем его Сретенск, и, начав спрашивать на вокзале, побрела искать часть, в которой служит инженер-лейтенант Шорников И. И. По

перечисленным выше обстоятельствам я совершенно не знаю каких-либо подробностей этих ее поисков, как, собственно, и всей поездки, а уже описанные (замерзшая моча в тамбурах и тому подобное) мною, кажется, придуманы или позаимствованы из чьего-нибудь чужого рассказа. Более того – я не вполне убежден, что и сама поездка была. Но коли я существую и известна дата моего рождения, то выходит, что мать и отец мои обязательно должны были увидеться в конце зимы того года, который в официальной истории называется годом перелома войны. А раз уж они должны были повидаться, то более удобного для этого случая, чем переформирование отведенной в тыл части, не придумаешь, согласитесь.

Словом, мать шла по совершенно пустому поселку и искала отца. Было это так. Несло мелкую снежно-ледяную крупу, и несло почти параллельно земле, поскольку ветры в тех краях вообще очень сильные. Ветер вылетал, неся эту ужасную крупу, из переулков на центральную улицу. Было уже темно, часов около шести вечера, но тьма отсвечивала мутновато-белым, снежным светом, хотя, казалось, светиться снегу не под чем: в окнах почти без исключения было темно, а звезды и луна, понятное дело, закрылись теми самыми тучами, из которых все сыпал и сыпал снег, вблизи земли встречаемый ветром и менявший полет вертикальный на горизонтальный. Она шла по узкой, в полторы ноги, тропе, прокопанной среди сугробов, уже оледеневавших под новым слоем ледяных кристаллов. Левый сугроб отделял тропинку от дороги, проложенной как раз ротой отца. Правый сугроб служил как бы дополнительной оградой, находясь между тропой и сплошными, переходящими один в другой заборами «частного сектора», домишек и даже изб, которые, в общем, и составляли эту главную улицу. Мама моя шла по тропинке в белесой темноте, почти наугад ставя ноги одну перед другой, стараясь идти по одной линии, как пьяный по доске. И все-таки она уже пару раз оступилась и чувствительно черпанула острого, полусмерзшегося снега ботиками, провалившись в сугроб, – раз слева, раз справа.

Тут, я думаю, стоит отвлечься и рассказать, как вообще в то время была одета и, даже шире, как выглядела эта женщина, Инна Григорьевна Шорникова, счетовод бухгалтерии главного производства завода № 47, жена офицера, находящегося в действующей армии, двадцати шести лет от роду, уроженка города Москвы, из служащих.

Лицо Инны Григорьевны было почти скрыто большим клетчатый платком черно-зеленых цветов, которые можно было бы, конечно, разглядеть только при свете, а в описанной мутной, как сильно снятое молоко в темной бутылке, мгле платок был просто черным.

Такие платки из очень жесткой и тяжелой ткани в крупную черно-зеленую, черно-коричневую или черно-серую клетку по всей стране носили пожилые сельские женщины, хотя были они фабричного дешевого производства и сильно пахли москательной – попросту говоря, керосином, что плохо сочеталось с естественной, казалось бы, для крестьянок природностью и домодельностью жизни. Но на самом деле крестьянки эти назывались колхозницами и никакой природности уже давно в их повседневном обиходе не было. Пушистые платки из бежево-серого и белого козьего пуха, называвшиеся оренбургскими, делались только на продажу, и на станциях их покупали богатые эвакуированные, расплачивавшиеся кто большими пачками денег, сизыми и бурыми крупноформатными бумагами, кто трехпроцентными серыми облигациями, а кто и просто тоненьким золотым колечком с черно-серебристой звездчатой вставочкой, посередине которой сверкал, пускал синие лучики маленький прозрачный не то камень, не то стеклышко...

Впрочем, я еще более отвлекся, так что лучше скажу коротко: платок на Инне Григорьевне был деревенский, но все прочее абсолютно городское и даже очень модное. Под платком скрывалась темно-красная шляпка, имевшая форму как бы растянутой в ширину и немного приплюснутой пилотки, но сделанная не из сукна, не из офицерской диагонали, а из фетра. Впоследствии, примерно через сорок лет, когда такие шляпки опять вошли в моду, их стали называть таблетками и вновь носить сдвинутыми косо вперед, к правой или левой

брови, а тогда, ветреной, пуржистой ночью в поселке Сретенск, Инна Григорьевна шляпку надела поплотнее, да еще и примотала сверху платком, который покрывал отчасти и плечи, поэтому не было видно небольшого, вокруг шеи обернутого воротника, представлявшего собой мягкое чучелко рыжей лисички с головой и лапами, причем лапы были с коготками, а голова смотрела стеклянными глазами почти осмысленно, и если бы не уже столько раз помянутый, скрывавший лису платок, можно было бы сказать, что они вдвоем высматривали дорогу: молодая женщина и мертвая лисица с ее плеча.

Такое чучело в гардеробе дам называлось «горжетка», и это был не совсем воротник, а скорее шарф, поскольку он никак не скреплялся с пальто, а просто лежал, обернутый вокруг шеи, на довольно прямых и широких, сильно поднятых ватой плечах, прикрывая простую, заведомо как бы недоделанную горловину этого теплого, из темно-серого габардина, пальто, в котором между габардином и атласной антрацитового цвета подкладкой был еще целый слой, а то и два ватина на специальной, крепко пристроченной основе, а в районе груди еще и бортовка, плетенка из конского волоса, который, когда вещь немного изнашивается, начинает, распрямляясь, вылезать, царапая вдруг чью-нибудь руку, положенную на плечо... Все это вместе, да еще в сочетании с сильной утянутостью пальто в талии, а дальше, вдоль бедер и до середины икр, с узостью, придавало фигуре Инны Григорьевны чрезвычайно модный в сороковые силуэт. И если бы ей снять, черт его дери, надоел, платок, то с темно-красной-то шляпкой на лоб – ну, хоть в Голливуд! А если кто думает, что это все позднейшая выдумка и что никакой моды тогда не было, а были только нищета и страх, то такой реалист сильно ошибается: все было вместе, и мода шла из журналов и кино, из все отделявавшейся тушенкой Америки, из быстренько оккупировавшейся Франции и даже из проклятой Германии.

И Инна Григорьевна от моды не отставала ни в чем, ни в уже описанной одежде, ни в прическе с сильно поднятым надо лбом валиком очень светлых, пергидролью доведенных до такого чудесного цвета от природного темно-русого волос, ни в почти полностью сбритых и высокими дугами заново нарисованных тоненьких бровях, ни в темно-алой губной помаде, еще из московского магазина ТэЖэ в Охотном, с помощью которой были нарисованы губы, гораздо шире и изогнутее настоящих в центре, если можно так выразиться, зато кончающиеся далеко от натуральных уголков рта, чем он и превращался в желаемое «сердечко»...

Словом, еще долго можно было бы описывать эту молодую даму, Инну Григорьевну Шорникову, прекрасно выглядевшую в середине сороковых, ее короткий, немного широко-ватый и туповатый, но ровный носик, круглые – немного слишком – темно-голубые, называвшиеся тогда фиалковыми, глаза и – тоже немного слишком, но не очень – выступающие скулы над слегка подрумяненными не только ветром щеками, но уже хватит. И так я увяз в отступлениях и описаниях, и мой рассказ совершенно не движется.

А между тем ведь рассказ мой только о том, как одним недавним летом я начал пропадать, в соответствии со старым предчувствием, и как пропал, и что было после этого. Рассказ этот, как нетрудно понять, для меня необыкновенно важен, и я доведу его до конца, чего бы ни стоило и как бы ни сбивали меня с толку отвлечения и описания всякого рода подробностей, которые я очень, признаться, люблю.

Вернемся же в поселок Сретенск (скорее все же небольшой город), по которому моя без девяти месяцев мать шла ночью в конце января, прикрывая лицо от снежно-ледяной крупы надвинутым низко старушечьим платком. Молочная муть неслась косо, дома были слепы, сугробы высоко белели по обе стороны тропы, и бедной моей будущей матери вдруг стало страшно. То есть ей стало страшно, как только она поняла, что идти ночью по темному и пустому незнакомому городу очень страшно.

Но когда она это поняла и испугалась, тут же и заметила метрах в пятнадцати впереди, на максимальном расстоянии не то чтобы видимости, но различения в темноте еще более темных силуэтов, фигуру, вероятно человека, движущуюся, кажется, по тропке ей навстречу.

Но поскольку пятнадцать максимум метров – расстояние небольшое, то бедная женщина даже не успела толком испугаться, что сейчас с нее могут снять лисьью горжетку, а то и целиком пальто. Эту горжетку, честно говоря, она и надела-то в дорогу не столько для того, чтобы предстать перед любимым и повоевавшим мужем во всей привлекательности и шикарности, тем более что именно он ей перед самой войною эту вещь и купил из своих отличных инженерских зарплат, – кажется, чуть ли не четыреста рублей в месяц, – что, впрочем, могло бы быть такой дополнительной причиной рискованного наряжения в дорогу как доказательство верности и памяти, – если бы главная причина не была более практической: она допускала обмен меха на билет или еду, если в пути уж совсем туго придется.

И вот теперь горжетку могут просто взять и снять.

Человек же, понятное дело, в это мгновение успел подойти близко и остановиться прямо перед нею, перегородив узкую дорожку.

Человек этот показался ей с мгновенного и испуганного взгляда морским офицером. Сейчас вроде бы странно и необъяснимо, почему Инна могла предположить встречу в ночном южно-уральском городке именно с морским офицером, а на самом деле все было логично и просто. Во-первых, любой мужчина в то время с наибольшей вероятностью мог быть и был военным; во-вторых, этот был одет в нечто длинное, черное, узкое в талии, а на голове имел черный же, сильно сдвинутый набок убор, что в белесой тьме больше всего походило на флотские шинель и фуражку; в-третьих, он должен бы быть офицером, а не матросом второй статьи, допустим, или главстаршиной, потому что женщина каким-то образом почувствовала – человек немолод, очень немолод, таких не призывают, они кадровые.

Инна Григорьевна, мама моя, сообразила все это в одно мгновение и в то же мгновение успокоилась, поскольку капитан первого ранга или даже третьего не станет, конечно, снимать с нее горжетку, а, напротив, как человек военный, может помочь разыскать ее военного же мужа.

И точно! Так ведь и вышло... Кто ж тогда мог знать, что кончится все горестями, ночными моими слезами на кухне, ужасным этим летом... Кто ж мог знать, а хоть бы даже она и знала, куда ей, в самом деле, было деваться ночью, в чужом месте, если она приехала мужа повидать?

– Вы Инна Шорникова? – спросил человек, близко придвинув к ней лицо, чтобы слышно было сквозь ветер и шуршание острого снега. Голос его был хриповат, по естественной простуде, очевидно, а лицо темновато, так что почти невидимо, но она разглядела довольно большие усы и, кажется, еще какую-то растительность, что окончательно утвердило ее в догадке: да, моряк.

– Шорникова? – повторил встреченный уже с раздражением и почти грубо. И добавил нечто совсем непонятное: – Я же вижу, что Шорникова, чего ж молчать-то? Странно...

Теперь, казалось бы, Инне и окончательно успокоиться, приняв, допустим, встреченного за какого-нибудь мужниного сослуживца, переведенного, предположим, в инженерную сухопутную часть из флотских инженеров, и, опять же, сделаем предположение, сблизившегося с Яном – так она называла своего мужа Иону Ильича – настолько, что мог видеть ее фотографию. Так что, будучи зорким моряком, опознал ее по фотопортрету в темноте... В общем, понятно.

Но, напротив, Инна не поддавалась в мыслях этой несколько условной, но все же логике, а просто ужасно встревожилась, услышав свою фамилию ночью. И, возможно, от обострения чувств вообще, вызванных этой тревогой, она вдруг вспомнила стихи или песню, которых вспомнить не могла, потому что стихов этих, да и песни, конечно, в то время просто не существовало, хотя впоследствии... Но об этом позже. Сейчас лучше привести без объяснений те строки, которые прозвучали зимней ночью сорок третьего года во взбудораженном женском сознании Инны Шорниковой:

Ранним утром на Пушкинскую зарюлю,
а точней, на Страстную...
Уходя, напоследок тебя полюблю
и во сне поцелую,
и на улице Горького, то есть Тверской,
не поев, закурю я...

Тут в сознании возник некоторый пробел, несколько строчек были неразборчивы, а в пробел немедленно встрял мужчина в черном:

– Да хватит же вам, дамочка, молчать, честное слово! Ну, Шорникова вы, Инна Григорьевна, муж ваш, Иона Ильич, вас уж заждался, а вы ночью по Сретенску топаете в совершенно, между прочим, обратную от расположения его части сторону, да еще и вырядились как фифа какая, видать, хотите, чтобы раздел кто-нибудь из местной шпаны или дезертиров, да еще и стихи дрянные вспоминаете, не написанные, кстати, пока...

Но как раз на этих словах пробел закрылся, и в Инниной памяти появились еще какие-то строчки вроде вот этих:

...и заплачу на Бронной, не слишком Большой,
но непреодолимой,
о себе, и тебе, и, конечно, о той
тишине над долиной...

К изумлению и даже ужасу своему женщина услышала эти слова, произносимые ее собственным голосом, как бы в ответ сверхъестественному, но раздражительному незнакомцу, охнула про себя: «Господи, как неудобно, он же меня за сумасшедшую примет! И чьи ж это стихи? Не Симонова...» – но тут уж ей стало не до стихов.

Потому что черный человек подступил к ней совсем вплотную и поднял.

Сделал он это следующим образом: несколько отклонившись в сторону и даже став одной ногою на откос сугроба, взял Инну Григорьевну под мышку, как берут ставшего в лужу или другим образом напроказившего ребенка, ноги которого при этом болтаются в воздухе почти параллельно земле, само же дитя извивается и орет. Инна, конечно, не заорала и извиваться не стала, напротив, она вся обмякла, голова ее свесилась, так что шляпка и удержалась-то лишь благодаря платку, и ноги свесились тоже, суконные ботики на резиновых литых подошвах, повторяющих форму вставленных внутрь ботиков туфель на среднем каблучке, косо легли друг на друга, и по всей фигуре молодой дамы, только что обруганной фифой, вспомнившей не известные ей, да и никому еще, стихи и наконец оказавшейся под мышкой у почти незнакомого мужчины – по всей ее фигуре стало понятно, что Инночка Шорникова потеряла сознание.

Причем именно потеряла и именно сознание – только так можно определить то, что с нею произошло, а не «погрузилась в беспамятство», например, или «лишилась чувств».

Совершенно напротив: никакого из свойственных человеку чувств она, свисая мягкой куклой с руки высокого в черном, не утратила и память сохранила, и потом долгие годы помнила этот удивительный случай, хотя вспоминать вслух не любила, более того – честно говоря, никогда и никому не рассказывала, даже мужу своему Ионе Ильичу Шорникову и, конечно, мне, своему сыну Михаилу Яновичу Шорникову. Поэтому, как обычно бывает с тайными эпизодами жизни, с течением времени все стало искажаться, утрачивая одни и приобретая другие детали, меняя очертания и даже последовательности. Тем не менее случай был, она знала точно. А что сознание потеряла, так это ничего не значит, просто Инна пере-

стала сознавать, насколько странно, необъяснимо и, может, даже опасно то, что с нею происходит, это сознание как бы выпало из нее, как могли бы сейчас выпасть из карманов и потеряться в снегу монеты или ключи – но у нее в пальто не было карманов, а сознание именно потерялось, раз – и нету, исчезло, и ничего уже не странно и не страшно, просто висишь себе в воздухе под мышкой какого-то мужчины в черной, кажется, шинели, возможно, флотского офицера, и, кажется, он говорит хриповатым своим простуженным голосом:

– К мужу, к мужу, Инночка! И немедленно делом займитесь... Заодно, хе-хе, и согретьесь...

Поскольку сознание Иннино уже было потеряно, то единственное, что заметила она в этих словах, была их явная скабрёзность, или, как она это определила, «сальность». Так она, как ей показалось, и ответила, немного косо продолжая висеть в воздухе:

– Перестаньте сальности говорить, а еще офицер! А если действительно знаете, то проводите меня, пожалуйста, к Яну... то есть, конечно, к лейтенанту Шорникову Ионе Ильичу, моему мужу, который... где-то здесь...

Тут Инна, как ей послышалось, наконец расплакалась, хотя имела все основания сделать это гораздо раньше. Всхлипывания черного мужчину, как и любого другого, заставили засуетиться, то есть, переступив с ноги на ногу, слегка Инну встряхнуть, как если бы он хотел привести ее в сознание, которое она потеряла, затем откашляться, а затем начать быстро расти в высоту за счет удлинения исключительно ног или чего там было под достающими до земли лапами шинели, причем замечу, что и полы эти одновременно и соответственно удлинялись, так что продолжали доставать до земли, хотя Инна уже оказалась на высоте не то четырех, не то шести метров, сам же растущий товарищ, прокашлявшись, но все равно хрипло, сказал:

– И никакие это не сальности, Инночка, а совершенно серьезная вещь. Вы ж на врача не обидитесь? Ну вот, а я тоже... в каком-то, конечно, смысле, но доктор, и совершенно ответственно вам говорю: если вы не хотите, чтобы какая-нибудь ерунда вышла, а именно в октябре и именно его, то тянуть нечего... Да и Ян тоже... вы ж больше полутора лет не видались, вы соображаете?! Все, хватит с вами болтать, пошел я...

И пока уж не висящая, а как бы парящая высоко над землей Инна пыталась – без сознания – понять смысл жуткой чепухи, которую нес черный насчет своего докторства, какого-то октября и прочего, человек действительно пошел. Он сделал шаг, другой, третий, переступил через забор, через проулок, еще немного подрос, перепрыгнул, чуть присев перед прыжком, через какой-то кирпичный барак... в белесой, все убыстряющей полет снежной мути... в сизо-черной тьме... в беззвездной и безлунной ночи... и смерзшийся, ломкий и острый на изломе верхний слой лежавшего на земле снега не скрипел под шагами... и тень идущего ползла по небу среди других теней, среди теней снеговых туч... и женщина косо, раскинув руки, чуть согнув в колене одну ногу, как всегда делают лежащие на боку женщины, летела в небе, на фоне этой черной длинной тени, несомая тенью... и еще шаг.

– Кто там? – взглядываясь в струи крупы и в тьму ночи, спросил лейтенант. Он стоял на крыльце в плохое, без портянок натянутых яловых сапогах, в бриджах с высоким корсажем и в нижней байковой рубашке фасона «гейша». Бриджи и сапоги он натянул, услышав стук в верхний край оконной рамы и чей-то голос за окном, называвший, кажется, его мало кому известное домашнее имя. Голос был мужской вроде бы, а лейтенант не припоминал ни одного мужчины, которому было бы можно так звать лейтенанта Шорникова. «Ян!» – еще раз произнесли за окном, и лейтенант, сминая голенища, вбил ноги в сапоги, кинулся в сени, вернулся, сунул руку под подушку, снова кинулся к двери...

Чего он так спешил? И почему так уж взволновался? Неужто, отвоёвав полтора года, не испытал много чего куда более волнующего, чем звук в ночи собственного имени, хотя бы и малоизвестного, хотя бы и произнесенного мужским голосом... Кто ж теперь знает,

чего так всполошился в ту ночь Иона Ильич. Но выскочил на крыльцо и закричал во мглу: «Кто там?!»

И увидел женщину, лежащую на снегу под тем окном, в которое стучали, и побежал к ней, а дверь тут же хлопнула от ветра, и снова открылась, и снова хлопнула, а Иона уже склонился над женщиной и увидел, что это жена его Инна лежит под окном комнаты, которую он за два дня до того снял у семейства местного военкоматского старшины именно для свидания с Инной, телеграмму о выезде от нее он ждал на адрес части, а комнату снял, честно и просто говоря, чтобы спать в ней с женой, ужасно по ней соскучившись, но телеграммы все не было, а жена вот лежала на снегу, и он поднял ее, и внес в комнату, положил на кровать, вернулся запереть дверь, зажег свет и стал при свете раздевать жену, развешивая по стульям ее одежду для просушки и согревания, уложил жену под одеяло, разжег прогоревшую уже и начавшую остывать печь-голландку, а когда вернулся к постели, размышляя, как же приводить Инночку в чувство – успев убедиться, что она просто в обмороке и никак не повреждена, и даже дышит довольно ровно, – когда вернулся к кровати, он увидел, что жена уже пришла в чувство.

Ей стало жарко, она откинула одеяло, посмотрела на него темно-голубыми глазами, в свете десятилинейной лампы казавшимися не фиалковыми даже, а лиловыми, она села на постели в одной сорочке, собственноручно сшитой из старого куса белого батиста и собственноручно же украшенной тонкой розовой лентой и пробивками, она протянула к мужу руки – как в каком-то, еще немом, фильме, она видела в детстве, протягивала к мужу руки героиня – и что-то сказала, не важно, что именно.

Было это в конце января сорок третьего года. В октябре Инна Шорникова родила сына и назвала его Мишей – в честь своего покойного брата. Иона Шорников, к октябрю уже старший лейтенант и начпотех строительного батальона, в это время рыл со своими пленными и охранявшими их сержантами раскисшую глину где-то на Украине. Письма от него приходили довольно регулярно, по аттестату Инна получала неплохо, а всякие распашонки и прочее умудрилась добыть из американских посылок – заранее покупала на толкучке.

2

Почему, начав свой рассказ о том, как прошлым летом я стал пропадать, я тут же отвлекся и так подробно изложил историю своего рождения, или, если быть точным, зачатия? А бог его знает почему... Во всяком случае, история эта мне кажется очень существенной, и не только из-за того, что мистическая ее фабула мне льстит, демонстрируя заинтересованность неких высших – возможно, дурных, но высших – сил именно в моем появлении на свет, но и в связи с кое-какими событиями в моей жизни, с которыми это доисторическое по отношению ко мне происшествие представляется связанным.

Но не буду торопиться.

Продолжу лучше описание своего летнего пути на дно, в ничтожество, своей наконец удавшейся попытке пропасть.

Главной, не подберу другого слова, предпосылкой моей гибели стало пьянство.

Рассказывать, как люди спиваются, смешно и глупо. По-русски про это написаны сотни рассказов, романов, пьес, очерков, статей и монографий. Но, с другой стороны, и про любовь написано не меньше, а все пишут и пишут...

Однажды – дело было летом, в конце июля – я ехал в поезде. Ехал я из одного южного города в другой южный город, дороги там было часов на четыре-пять, а жара стояла ужасная, под сорок, так что никакой еды я с собою не взял, а купил зато на вокзале почему-то вполне свободно продававшегося чешского пива «Праздрой», две бутылки... нет, три, и к тому маленький кулечек соленых сушек, бараночек таких очень твердых, обсыпанных крупными кристаллами соли, которая по их внутренней поверхности налипла погуще, а с внешней, особенно с узких закруглений – сушки имели форму овальную, – осыпалась, и эти поверхности блестели коричневым как бы лаком, в то время как в остальном сушки были просто желтенькие с белыми солевыми крапинками. Вот с этими сушками и пивом в портфеле – тоже, между прочим, чешском, наполненном, кроме того, электробритвой «Харків», зубной пастой «Колинос», двумя рубашками «Дружба» и прочей бытовой мелочью различного происхождения, – с таким багажом я и вошел в купе, поскольку билет, даже и на короткую дорогу, мама мне велела брать в купейный вагон, чтобы ехать прилично, а не в запахах и грязи плацкартного или тем более общего.

Происходило все это, кстати, в шестьдесят первом, и, следовательно, мне тогда было около восемнадцати лет, еще не исполнилось.

В купе два места уже были заняты, но чисто условно, потому что мои попутчики, как я сразу почему-то понял, тоже ехали недалеко, и никто не собирался размещаться по собственным, указанным в билетах верхним и нижним полкам, а просто сидели за маленьким, укрепленным металлическим подкосом столиком и разговаривали.

Слева я увидел женщину – или даму, поскольку дело происходило на юге, – средних лет, как я оценил, а на самом деле вполне еще молодую, полную... а больше ничего не помню. Справа же сидел морской офицер в полной летней форме, как из мюзикомедии «Севастопольский вальс», то есть в белом кителе со стоячим воротничком и серебряными инженерскими погонами, в белых брюках и даже в белых ботинках. Фуражка его в белом полотняном чехле лежала рядом с ним, и там же стоял маленький чемоданчик.

Чемоданчик этот я запомнил очень хорошо потому, что он был точно такой, какой мне самому хотелось иметь еще с детства, когда родители ездили отдыхать в военные санатории в Сочи или Юрмалу и брали меня с собой, снимали для меня койку у какой-нибудь санаторской горничной или сестры. У нас таких чемоданов не было, а были самые обычные фибровые со стальными уголками и ручками, но на пересадке в Москве или Харькове – мы ехали с пересадками из какого-нибудь военного городка – я иногда видел молодых людей с такими

чемоданами, пиджаков, как их называл отец. Молодые люди быстро шли по перрону, мимо носильщиков с ляжками, милиционеров со шнурами вокруг мундирных воротников, мимо перронных открытых столовых с длинными столами, за которыми пассажиры дальних поездов ели борщ и котлеты с вермишелью во время долгих стоянок, а молодые пиджаки в кремовых пиджаках с короткими рукавами, в серых летних туфлях, в голубоватых брюках шли мимо и несли эти чемоданчики – черные, лакированные, обшитые по ребрам желтой кожей.

Вот и рядом с капитаном третьего ранга стоял такой чемодан, из самых небольших. Тогда, в шестьдесят первом, он уже не был для меня так притягателен, поскольку в моду вошли чешские пузатые портфели и чемоданы из толстой красноватой кожи, а черный лакированный как раз и остался провинциальным щеголям вроде флотского, наверняка добирающегося до столиц из Севастополя, фасона по дороге белым кителем и лакированной балеткой (так тогда назывались маленькие чемоданы), – но все же я отметил про себя эту блестящую, хотя и старомодную роскошь.

Войдя в купе, я поздоровался, поставил портфель на вторую полку и сел рядом с моряком, ближе к двери, по другую сторону проклятого чемодана. Тут же поезд тронулся, сразу после станционных стрелок въехал на мост, прогрохотал по нему, и за окном начало темнеть, день будто остался в том городе, который я на время покидал.

Офицер вздохнул почему-то довольно горестно, но тут же и засмеялся, извинился перед соседкой, – которая ничего не ответила, глядя в темнеющее все быстрее окно, – расстегнул белый китель, под которым обнаружилась глубоко вырезанная майка-тельняшка, и произнес следующее:

– Люблю на паровозе ездить, не потонешь! Шучу. Поздравляю вас, дорогие товарищи, с нашим праздником! И предлагаю всем налить.

При этом он только улыбался и не сделал никакого движения, чтобы, допустим, действительно что-нибудь налить, да и нечего было наливать: на столике, кроме хорошо постиранной и накрахмаленной, слегка съехавшей под локтем нашей попутчицы салфетки, не было ничего.

Соседка, продолжая смотреть в окно (ну, не помню я ее лица, и вообще не помню, хоть убейте, полная – и все), спросила:

– А какой же у вас праздник, извиняюсь, конечно?

Но не успел моряк ответить, как я, будучи довольно сообразительным юношей, вспомнил и воскликнул:

– Ну, как же, конечно. С Днем Военно-морского флота вас, товарищ капитан третьего ранга! С праздником!

Затем я вскочил, причем, хотя вагон как раз в это время слегка качнуло, ловко, как мне показалось, избежал удара лбом о верхнюю полку, стащил с нее портфель и немедленно вынул оттуда сушки и три... нет, все же две бутылки «Праздроя». Моряк молча и строго установил пиво на столик, поближе к окну, так же молча развернул кулечек, чтобы удобнее было брать сушки, и, повернувшись, щелкнул замками чемодана. Я успел увидеть мыльницу из перламутровой пластмассы, никелированную коробку с кисточкой для бритвы и какую-то незначительную одежду, но чемодан уже закрылся, а на столике, посередине, оказалась поллитровая зеленоватая бутылка, налитая до верха горлышка прозрачной жидкостью, заткнутая свернутым газетным обрывком и обмотанная поверх него синей пластиковой изоляцией, тогда еще только в военной промышленности появившейся, – прочие пользовались черной матерчатой. Дама тоже почему-то вздохнула, не вставая, низко наклонилась, вытащила из-под сиденья сумку, развязала носовой платок, которым были стянуты ручки, и, не разгибаясь, стала выкладывать на стол помидоры, огурцы, кусок жареной рыбы в газете, соль в спичечном коробке и половину высокого круглого белого хлеба, который в тех краях называется паляницей. Моряк, все так же молча, глянул на меня, но я уже и сам все понял: как младший я

встал и отправился к проводнице за стаканами, которые она, вынув из стальных подстаканников (с выдавленными на них буквами МПС и изображениями локомотивов, здания МГУ на Ленинских горах и главного входа ВДНХ), без возражений мне и вручила.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, я иногда размышляю о том, как повернулась бы моя жизнь, не случись тогда в купе праздничного капитана третьего ранга со спиртом, сэкономленным его морячками на протирке приборов, наверное, или заартачься, как иногда бывает, проводница и не дай мне стаканов, или хотя бы соседка скажи: «А вам не много будет, я извиняюсь, конечно...» – когда морячок вбухал мне в стакан почти под край неразведенного, столько же, сколько и себе, предварительно, разумеется, со всей галантностью налив на палец – «Ой, мне ж хватит, хватит!» – даме... Или закашляйся я после первого глотка, опозорюсь, не допей... и все пошло бы по-другому, и не было бы ни бессонниц горестных, когда ни с того ни с сего вдруг взвоешь тихо, вожмешься мокрым лицом в подушку, понимая, что все идет к концу, и эта проклятая жизнь катится под уклон, и скоро уже исчерпается – хорошо, если инфарктом – отпущенное мне, а еще не все, не все было, и встаешь, тихо достаешь недопитое, тихо откручиваешь пробку, стакан искать лень, да и звякнешь еще нечаянно, так что прямо... Боже мой, Боже мой, за что Ты, Милосердный, послал мне все это – горький этот спирт спирта, сладкий этот спирт любви, огненный этот спирт жизни, и почему от пьянства болит печень, и почему от любви страдают те, кто не любит, а что же делать, что делать...

Вы, может, и сами замечали, что о чем бы ни начали думать – о самых, казалось бы, отвлеченных вещах, – но если думаете ночью, то уже через минут десять от всей мысли остается только «Что делать? Что делать?», которое твердит внутри вас какой-то идиот.

Ну-с, а что касается той истории в поезде, то развивалась она вполне естественным образом. Я резко выдохнул, как и полагалось по имеющимся у меня откуда-то сведениям, в два глотка проглотил спирт, услужливый моряк отколупнул – специальной штукой, имеющейся под столешницей, – крышку с одной из бутылок пива и дал мне, задохнувшемуся, запить, потом я съел половинку помидора, подернувшегося как бы инеем на разломе, потом угостил моряка сигаретой «Шипка» и вышел с ним в коридор покурить, а потом упал.

В свои почти восемнадцать лет я уже давно и курил, и водку пил вполне исправно, но тонкий стакан спирта, залитый пивом, действие оказал серьезное.

Моряк, как впоследствии выяснилось, не посрамил ни офицерского звания, ни флота, в честь праздника которого едва не отправил меня на тот свет. Как только поезд прибыл на место, он, не стесняясь погон и не жалея своей белизны, будучи совершенно трезвым, дотащил меня до вокзального медпункта, откуда сначала меня было хотели отправить, понятное дело, в вытрезвитель, но потом передумали. Роль тут сыграли три вещи: обаяние и настойчивость элегантного морского офицера, доброта фельдшерицы и то, что она не обнаружила у меня пульса. Тут милая девушка засуетилась, вкатила мне в предплечье камфару, влила, едва я задышал, в меня пять литров теплой воды с марганцовкой, сделала еще один укол и спасла мне жизнь.

Моряк, увидав, что я открыл глаза, попрощался с фельдшерицей и пошел добывать место на Ленинград. Я же остался лежать на клеенчатой кушетке, портфель мой стоял рядом на полу, и рядом же, на стуле, была сложена вся одежда, а я лежал в одних трусах из синего сатина, чувствовал спиной сквозь довольно ветхую медпунктовскую простынку липкий холод клеенчатой обивки и смотрел в потолок, то надвигающийся на меня, то взлетающий в отчаянную высоту, сердце стучало так, что мне было самому слышно, несмотря на звон в ушах, и наступила ночь, фельдшерица выключила свет и что-то сказала, кажется, насчет того, что до утра, так уж и быть, отлежись, а утром, если что, надо перевозку вызывать и в больницу, я за вас таких отвечать не буду...

Или что-то в этом роде.

Потом она ушла в другую, отгороженную матово-стеклянной ширмой, половину комнаты, где были умывальная раковина, стол для заполнения документов и еще одна кушетка, на которую, судя по звукам, она, немного повозившись, и легла. А я заснул.

И во сне она пришла ко мне, и все сделала, что должна была бы сделать добрая девушка с симпатичным молодым человеком наяву, но не сделала, и только во сне, в несчастном одиноком сне едва не отравившегося спиртом насмерть юноши произошло то, что потом происходило бесчисленное количество раз между мною и другими женщинами, после выпивки и без нее, с наслаждением или почти без, в разных комнатах и под открытым небом, но потом, потом! А в ту ночь она не пришла, хотя, засыпая, я почему-то был уверен, что придет, и так с этой уверенностью и заснул, и во сне эта женщина и явилась.

Ее-то лицо в отличие от лица соседки по купе (интересно, куда она-то делась, когда пришлось со мной возиться? В медпункт меня притащил моряк в одиночку), лицо этой фельдшерицы, спасшей мое тело, с того времени требующее отравы, но погубившей душу, возжаждавшую навсегда любви и никак не могущую утолить эту жажду, – это лицо я запомнил.

Собственно, теория, которой я объясняю почти все, случившееся со мною после той ночи, не лучше и не хуже любой другой теории, то есть полна натяжек, ничем не обоснованных предположений, произвольных допущений и нарушений логики. Хороша же она тем, чем и другие верные теории: она легко и прочно связывает то, что произошло и не произошло в ту ночь в вокзальном медпункте, с тем, что происходило и не происходило со мною всю последующую жизнь. Побывав в смерти и вернувшись из нее, я навсегда приобрел страсть к средству, которое позволило проделать мне это самое увлекательное из всех путешествий.

И хотя я люблю порассуждать о предпочтительных напитках и их сортах, о нюансах опьянения, о его технологии и психологии, на самом деле, если быть честным, надо говорить об одном: я пытаюсь, все время пытаюсь пройти этот путь в обе стороны, и, думаю, многие мои товарищи по страсти пытаются проделать то же самое, испытав, может быть, однажды – не обязательно с камфарой – но ничего не выходит, только все любезнее предлагает кондуктор *one way ticket*... Что же до женщины, то и она укладывается в эту теорию. Она обманула ожидания наяву и оправдала полностью в сновидении, став первой и навек оставив этот отпечаток – всегда уклоняться и всегда соглашаться, уклоняться в трезвой жизни и приходиться во сне, который по-английски то же самое, что мечта, поить теплой и розовой от марганцовки водой, спасая, и поить своею кровью, губя...

Она пришла во сне.

Я должен описать ее, потому что не было и не будет в мире женщины красивей, и, согласитесь, несправедливо было бы унести с собою это описание.

В тот раз она была темноволоса.

Конечно, никакая стрижка или прическа не могла бы стать подходящей для первой – и последней тоже – любви, поэтому волосы ее просто лежали по плечам, не слишком длинные, но и не короткие, едва заметно выющиеся, скорее даже просто растрепанные, и когда она склонилась надо мной, в свете высоко висящей лампы пряди сверкнули красноватым, а их распущенные концы засветились даже темно-оранжевым, и все это вместе напомнило мне старые вытертые шубы «под котик», которые во времена моего детства были у многих окружающих меня женщин, а потом из этих шуб выкраивались воротнички, но даже и наименее вытертые куски, которые для этого использовались, отсвечивали сквозь лаково-черное красноватым.

Вероятно, она мыла голову хной для укрепления волос.

Из-под очень темных и очень густых – кажется, такие прежде называли соболиными – бровей смотрели на меня большие, чуть-чуть косо прорезанные глаза, светло-коричневые, с

почти невидимыми зрачками, очень ярко блестящие, и цвет их, темно-золотой, в то время я бы затруднился описать более точно, чтобы можно было представить этот блеск, и сияние, и игру, но теперь, тридцать с лишним лет спустя, жизнь помогает писателям, и я просто скажу: глаза женщины были цвета «коричневый металл».

Тонкий и ровный ее нос, может, чуть длинноватый, на самом кончике был как бы усечен, и получилась едва заметная площадочка, ежиный пяточок. Именно эта, пожалуй, единственная как бы некрасота в ее лице сразу притянула мой взгляд, и я уж не мог его отвести, и сейчас, когда вспоминаю это лицо, чтобы и вы могли представить себе прекраснейшую в мире, я вижу смешной пяточок, и, конечно, слезы мешают мне разглядеть остальное, и я вынужден прерваться и выпить какой-нибудь дряни, к примеру болгарского бренди, дешевейшего «Слычнев Бряг», чтобы успокоиться.

Рот ее я описать не могу, скажу только, что губы были абсолютно правильной формы, и нижняя, более полная, изгибом и розовым перламутровым блеском напоминала чуть вывернутый наружу край большой морской раковины.

Тонкая шея, тонкие, даже слишком, запястья и очень маленькие ладони, тонкие щиколотки и несколько по-детски расширяющиеся к пальцам ступни – и при этом очень полные плечи и руки до локтя, мощные бедра, талия, которую, казалось, можно обхватить кольцом пальцев, – и тяжелый круп, именно круп, поскольку во всей ее фигуре, в тонкокости, сочетающейся с большими округлостями, было очень много от лошади, из тех тонконогих и сильно прогнутых под седлом лошадей, которые скачут или стоят, слегка приподняв переднюю ногу, на старых изображениях.

Грудь лежала низко, темные соски были окружены как бы маленькими сосочками, и в губах моих скользила и распрямлялась ее плоть, тонкая и смуглая кожа, и очень мелко вьющиеся волоски, и сейчас еще чувствую я их своим языком, они прилипли к нёбу, я задыхаюсь, но уже тридцать с лишним лет не могу вздохнуть и все глубже погружаюсь в эту смуглость, в эту тьму, так что не обращайтесь внимания на мои слова – это просто хрип удушья и счастья. Темная тонкая кожа, темные тонкие пальцы, темные тонкие волосы.

Розовокожие северные блондинки или темноволосые с зеленовато-желтым оттенком кожи южанки, крупные или маленькие, полнотелые или тонкие – можно ли говорить, что мы любим их, потому что они такие? Нет, нет, все наоборот – мы любим первую или последнюю, и она-то и становится образцом, а иные вызывают равнодушие, в крайнем случае любопытство. Не верьте, что кто-нибудь любит блондинок, просто у него светловолосая любовь.

Я обнял ее, и она поцеловала меня под ключицу, и еще раз, точно в середину креста, который уже тогда образовывали на моей груди год от года густевшие волосы, и сердце, еще полное отравы и только приноровившееся снова стучать, опять остановилось, и в эту пустоту, оставшуюся от звука остановившегося сердца, хлынул другой звук, это она что-то шептала, или пела тихо, или просто дышала. Не верьте никому, кто рассказывает о любви. Любовь нельзя рассказать. Можно описать цвета и даже запахи, можно вспомнить слова и стоны, можно назвать все по имени и определить место. Но нельзя передать другому ту пустоту, которая появляется на месте сердца и заполняется иным существом, и рот заполняется иной плотью, и жизнь заполняется иной жизнью, и ее кровь заполняет твои жилы. Так и опьянение нельзя пересказать, нужно, чтобы яд проник в твою кровь.

Я проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было около шести утра. Чувствовал я себя прекрасно, если не считать того, что был дико голоден, пустой желудок жестко требовал своего. Одеться удалось почти без звука, потом я заглянул за ширму. На столе лежала крупным почерком заполненная бумага. «Шорников М. Острое алкогольное отравление. Ослабление сердечной деятельности, пульс слабого наполнения...» Фельдшерница спала на кушетке, укрывшись серым байковым одеялом с казенным штампом. *Светлые, туго зави-*

тые волосы сохраняли круглую, одуванчиком, прическу. Во сне ее дыхание присвистывало, тонкие губы слегка открылись, ноздри вздернутого, немного картофелиной носа вздрагивали. Руки она выложила поверх одеяла, крупные, почти мужские, но довольно красивые кисти лежали мертво. Под моим взглядом она перекатила голову по подушке и несколько раз часто вздохнула во сне.

Я сунул бумажку с историей своей первой – или последней – любви в карман, взял портфель и вышел, постаравшись прикрыть за собой дверь без стука.

Теперь, когда я начинаю новую работу, меня все чаще преследует безумная идея: а может, плюнуть на все и написать просто обнаженную, смуглую, с тонкой и нежной кожей, с отливающими красноватым мехом «под котик» прядями вокруг лица, с тонкими запястьями и щиколотками, похожую на изысканную лошадь со старой гравюры... Вот она стоит, прямо обращенная к зрителю, ноги ее ниже коленей перечеркнуты, закрыты белой больничной кушеткой, на которой, запрокинув голову, выставив юношеский кадык, лежит не то мертвый, не то спящий мальчик, бледнотелый, блестящий остывающей испариной, и утреннее напряжение натягивает синюю ткань... Или написать светлые, туго завитые волосы, словно одуванчик на подушке, большие кисти на сером одеяле, розовую, немного воспаленную кожу и спину юноши, стоящего над спящей... Или...

Ничего этого я писать не стану. Для кого? Лучше, как обычно, заполню холст блекло-голубым, ровным светом, или бежево-серым, или пересеку его багровой косой полосой – на это уже есть заказ.

Возможно, я бы плюнул на заказ и решил бы, но любовь не напишешь, не стоит и пытаться, да еще и деньги терять. Идея все же время от времени вновь возникает, я как бы созреваю для нее, но каждое следующее созревание все бесплоднее, все яснее видны последствия решительных поступков, цены глупостей, все очевиднее, что неудача похищает время удачи, и уже не можешь себе позволить плюнуть на все просто потому, что этого всего остается все меньше. Каждое созревание – это кризис, но кризис пятидесятилетнего совсем другой, чем воспаленный подростковый переход, беспутный занос в двадцать пять, отчаянный перелом в тридцать три... Прожившийся тратит совсем по-другому, чем просто бедный, к концу игры ставки скупее.

В общем-то, не слишком все это интересно и не стоило бы говорить, но пришлось к слову, вспомнил старый и все возвращающийся сон. Ведь главное всегда возвращается, жизнь обязательно замыкает круг.

Лжец будет обманут.

Будет побежден победитель.

У грабителей все отнимут.

И первая любовь вернется последней и отомстит за вину, которой не было.

3

Я открыл глаза и сразу вспомнил, что с вечера на двери подъезда был приклеен листок: «Уважаемые жильцы! Горячее водоснабжение будет отключено с 10.00 11.VI до 10.00 2.VII. Приносим наши извинения. РЭУ-14». Принесение извинений у дверей подъезда, загаженного по колено, с омерзительно вонючим лифтом, обклеенным засохшей жевательной резинкой с воткнутыми в нее окурками, не могло не вызвать умиления. Эта проклятая жвачка с раздавленными окурками была наиболее отвратительна, даже бродяги, спавшие на каждой площадке, и лужи, вытекавшие из-под них, не возбуждали такой тошноты.

И примите уверения в совершеннейшем нашем почтении, сударь... Искренне ваш, ответственный квартиросъемщик, эсквайр... Остаюсь вашим покорным слугой, техник-смотритель и кавалер...

Вытащив из-под подушки руку – как обычно, я спал, уткнувшись в наволочку лицом и обняв этот измятый подголовник, из которого время от времени вылезали маленькие, острые, скрученные полукольцом белые перышки, – я посмотрел на часы. Прежде всего в сотый или в тысячный раз порадовался их виду: купленная за гроши на одной из многих нынешних толкучек «омега» пятидесятих годов утешила чистыми очертаниями, черным, невыцветшим циферблатом, фосфорно-зелеными цифрами и громким, не сбивчивым тиканьем... Затем я сообразился со временем.

До страшного мига оставалось еще около двух часов. Я осторожно откинул сбившееся внутри пододеяльника одеяло и сел на кровати, тут же сам заметив, что даже утром поза моя обнаруживает усталость: склонившись вперед, оперевшись локтями в ляжки и свесив кисти меж колен, я с бессмысленной сосредоточенностью рассматривал свои ступни с уже явно проявляющимися косточками и покорежившимися ногтями на некоторых пальцах, узловатые икры, почему-то обезволосившиеся на внешних сторонах, колени в пупырышках, отвисшие мышцы, на которых от локтей останутся красноватые вмятины, и длинные штанины любимых, но уже сильно застиранных клетчатых трусов «боксерс». У самой границы поля зрения болтался крест на тонкой серебряной цепочке, серебряный крест с распятием и буквами ИИЦІ поверху и ІС и ХС – по бокам.

Иисус Назаретянин Царь Иудейский, Иисус Христос.

Там, где во сне крест был прижат к груди, под волосами остался его багровый отпечаток.

Посидев таким образом минут пять, я решил, что в оставшееся время я использую горячее водоснабжение только для душа и первоочередной стирки, а побреюсь потом, электрическим «брауном» – несмотря на нелюбовь к нему, надо опять привыкать, впереди по крайней мере три недели мучений.

Я встал с дивана, и тут же проснулась кошка.

Сначала она сильно вытянулась на подушке во всю длину, выпрямив напряженные задние лапы, так что они оказались похожи на куриные, торчащие из хозяйственной сумки ноги, а передними загребая воздух перед собой. Потом она резко скрутилась в кольцо, вывернув голову, и ясно посмотрела на меня одним, уже широко раскрывшимся глазом. Лапы ее при этом соединились все в точке, и она начала месить – выпускать и поджимать когти, растопыривая и сворачивая короткие пальцы с темно-розовыми подушечками. Синий глаз был серьезен.

– Ну, пошли, – сказал я ей, – пошли мыться и стирать, кошка. А то скоро нам воду отключат.

Она побежала одновременно впереди, позади и рядом со мной, путаясь под ногами, норовя от утреннего счастья цапнуть за голую щиколотку. Миновав ванную, мы пришли на

кухню, где в одно блюдце я сыпанул ее американских коржиков, созвучных моему любимому напитку, в другое – откромсал кусок мяса, специально размороженного и лежавшего в блюдце на верхней полке холодильника, а в литровой кружке сменил воду для ее питья. Она, естественно, сначала все это зарыла, но увидев, что я не реагирую и направляюсь в ванную, тут же захрустела – ну, характер!..

Горячей воды уже не было, конечно. Приносим извинения, сэр...

Слегка охая и отдергиваясь, я помылся холодной, кое-как смывая мыло из подмышек, грея воду в ладонях, чувствуя, что простуда приближается с каждой каплей – вода была просто ледяная, хотя и в июне.

Потом я влез рукой в пластмассовое ведро с грязным бельем и начал выбирать то, что следует постирать сегодня во что бы то ни стало. Набралось: носки «берлингтон» в черно-красно-зеленый ромб, уже почти протершиеся, что подделаешь, еще с английских гастролей, из Эдинбурга; трусы, опять же клетчатые и тоже сильно неновые, – Франкфурт; голубая рубашка «эрроу», сорок долларов, магазин как раз напротив того театрала на Сорок четвертой улице... Это что ж, выходит, ей уже пять лет?! Выходит, так... Ну, и платок шейный «ланвэн», рю Фобур-Сент-Оноре, изумительный тот год, когда глох от аплодисментов, а рецензии – не читая, не вырезая, всю газету – совал в чемодан на шкафу в прихожей...

Быстро стираю в холодной воде – руки сводило – трусы и носки (так оно даже «для гигиены полезней», говаривал один помреж), я притащил из кухни вскипевший чайник и, вслух проклиная все искренние извинения, начал намыливать воротник рубашки и тереть его специально для этих целей выделенной махровой рукавицей. Я обжигался, но темная полоска не отходила, да и как ей отойти, если носить рубашку столько лет, да еще стирка такая.

Наконец я одолел полоску, расправил рубашку и, не выжимая, повесил на плечики над ванной. Меньше будет проблем с гладкой... И настало самое трудное – платок, фуляр. Намокший шелк тут же перекосялся, слипся в жгут, расправить его, чтобы потереть – а пачкается он, естественно, не меньше, чем рубашечный воротник, – не было никаких сил, руки под холодной струей совсем ооченели, а при первой же попытке воспользоваться еще не остывшим чайником с тряпки потекла красноватая вода, «ланвэн» стал линять, вот тебе и на, интересно, чего ж это он раньше не линял?

Когда я все развесил и вытер размытые до сморщенной кожи, как положено прачке, руки, было уже около десяти. Жутко захотелось есть, как обычно к этому времени, если накануне пил и ел поздно вечером, если просыпался в пять, растворял соду от изжоги, принимал аллохол и снова задремывал в седьмом часу, чтобы в восемь проснуться уже окончательно... Я надел часы, на время купания и стирки повешенные на крюк, снял с этого же крюка черное, ставшее уже белесым от носки кимоно, натянул его, туго подпоясал и открыл дверь ванной.

Кошка сидела в узком коридоре и внимательно смотрела на меня снизу вверх. У нее не было никаких комплексов маленького существа, она не боялась меня, не завидовала моему росту, обходилась со мной нежно и строго, могла слегка укусить – в основном за то, что я пытался встать или хотя бы сменить позу, когда она сидела у меня на коленях, – а лежа рядом со мной, целовала в губы, по всем правилам, и тут же прижималась к щеке, как это всегда делают давние, привязавшиеся друг к другу партнеры. Она досталась мне стерилизованной, и поэтому теперь наши темпераменты все более совпадали.

– Пошли, кошка, – сказал я, – кофе пить. Ты, рожа, позавтракала, а я стираю целое утро, как Золушка...

Но кошка, сделав вялый полупрыжок, повела меня не на кухню, а в клозет, показывая, что прежде всего надо за ней убрать, а потом уж кофе и прочее сибаритство. В этом она была непреклонна. Выбросив намокшие клочья газеты в унитаз и ополоснув используемый

ею старый поддон от давно сгнувшего холодильника, я снова помыл руки, снова направился на кухню, взял там чудовищно закопченную итальянскую кофеварку, состоящую из двух граненых металлических конусов, соединенных усеченными вершинами, развинтил ее, вытряхнул из фильтра слежавшийся выпаренный кофе в пластиковый мешок с мусором, приткнутый между холодильником и мойкой, налил в нижний конус воды, наложил фильтр, опять вымыл руки, обнаружил, что молотого кофе в мельнице мало, досыпал зерен, смолот с грохотом и воем, высыпал в фильтр шесть ложек, слишком много, навинтил верхний конус, поставил устройство на плиту. Кто мне его подарил? Не помню уже. Жутко неудобное, но кофе получается отличный, и не ломается оно уже лет десять.

Пока кофе варился – семь минут, – я полез в холодильник, достал масло, зацепил кусок ножом, стряхнул, сдвинул об уже нагревавшийся край сковородки, масло растеклось, достал два яйца, надсек ножом одно над сковородкой, разломил, бросил скорлупу в мусор, надсек второе, разломил, бросил, долго отряхивал над сковородкой соль, прилипшую к пальцам, бросил в уже начавшую подергиваться пленочкой яичницу оставшуюся со вчера в холодильнике сморщенную вареную сосиску – предварительно разрезав ее вдоль.

Снова помыл руки.

Поставил сковородку на керамическую подставку с деревянной рамой, с синим охотничьим рисунком (Дания? Голландия? Не помню), взял вилку, нож, поставил кофеварку на другую подставку, толстое стекло в металлической рамке с завитушками (Германия, кажется) взял кружку с надписью «Note, sweet home» – Лондон, это точно, – взял старую синего стекла пепельницу с выдавленной с нижней стороны дна головой оленя, взял сигареты, зажигалку, сел, отковырнул сразу четверть яичницы и кусок сосиски, прожевал, налил кофе...

«Разрешите же мне, Экселенц, откровенно, насколько позволит мне природная, свойственная моему сословию и цеху, лживость, изложить соображения, которыми я руководствовался, с одобрения Вашей Милости решаясь на известные Вам действия.

Итак, во имя Святейшего, да продлит Создатель его дни.

Мы отправились в экспедицию, отплыв от вполне безлюдного берега в среднем течении этой ужасной реки. Противоположный, высокий берег, постоянно подмываемый мощным и быстрым потоком, краем сполз в воду. Местная растительность, представленная по преимуществу невысокими и тонкоствольными деревьями с белой, в темных разломах корой, называемыми на туземном наречии «биериоза», оказалась, таким образом, в реке, и светлые ее листья колебались в струях, создавая дополнительную подвижность и рябь на поверхности воды, просвечивающей под солнцем вплоть до близкого илистого дна, по которому, если всмотреться, скользили тени от этих странных крон, волнуемых не ветром, а несущейся жидкостью... Само собою, вместе с названными деревьями сдвинулись в русло и низкорослые, обсыпанные красными – отвратительного, к слову, вкуса – ягодами кусты, именуемые на том же варварском диалекте «каллино-маллино» и давшие название дикой аборигенской пляске; сползли в воду и прочие мелкие растения. Обнажившийся глинистый срез, багрово-коричневый, с вылезавшими наружу корнями, представлял собою зрелище безобразное и удручающее.

Длинные наши суда, движение которым придавали нанятые из местных обитателей гребцы, достаточно быстро неслись вперед – не столько даже усилиями этих гребцов, тощих и ленивых (сведения о физических и душевных чертах туземцев изложу Вашей Милости позже), сколько самим течением, легко влекущим эти сравнительно небольшие, узкие при значительной длине лодки с плоскими днищами. Насколько я понял, эта их особенность отражена и в оригинальном названии «плоззь-кодон-ка», хотя, возможно, я и ошибаюсь, так как тем же словом один из наших гребцов и проводников называл женщину, о которой говорил как о жене...

...Итак, берега неслись мимо, наши кирасы и шлемы сияли и накалялись под солнцем. Природа была дика, первобытна, и нигде не замечалось и следа пребывания цивилизованного европейца и христианина. Лишь уродливые храмы туземного культа – высокие тонкие цилиндры из кирпича, наподобие турецких минаретов, только выше, исторгающие отвратительный дым, да железные строения вроде виселиц для великанов, соединенные между собою железными же нитями, – мелькали то справа, то слева. Лес местами был вырублен, местами выжжен, и там можно было видеть могильники, оставленные, видимо, предками дикарей: странные железные коробки с колесами, большею частью ржавые; тяжелые каменные плиты с ровными поверхностями, обработанными какими-то титанами, и металлическими прутьями, торчащими из камня. Когда мы проплывали мимо одной из таких гекатомб, гребец, сидевший недалеко от меня, произнес следующую фразу на своем языке (записываю сейчас по памяти): «Зплощчнайа пом-ой-кха, иоб твайу мадь!» – и плюнул за борт лодки.

Я давно присматривался к этому человеку и пришел к выводу, что его роль в дикарском сообществе примерно та же, что моя – в нашем...

– ...Что ж, – с изумлением продолжил я свои расспросы, – вы всерьез убеждены в том, что можете противиться воле Божьей и Святейшего?

Он оглянулся на своих соплеменников, среди которых и сам еще недавно набивал кровавые мозоли веслом, и повторил своим громким, визгливым голосом:

– У нас своя жизнь и свой путь в этой жизни, и то, что вы называете Божьей волей и цивилизацией, нам не подходит и никогда не приживется на этой земле. Вы считаете нас дикарями, а мы дикарями считаем вас, отправляющихся за золотом в чужие страны, на муки и гибель, проводящих всю жизнь в тяжком труде, в добычании богатства, в украшении своего существования ценою самого существования. Вам кажется, что жизнь – это есть жизнь, что действительность видима и что поступки – это есть человек. А мы верим, что действительность – это то, чего нет, что истина скрыта и что человек проявляет свою сущность не в том, кто он есть, а в том, кем он хотел бы и мог бы стать. Вы поверх одежды носите металл, чтобы отделить себя от мира, выделиться в нем. А мы нашу одежду носим наизнанку, чтобы слиться с подкладкой жизни.

– Но тогда вас необходимо силой привести в человеческую жизнь, – вскричал я, не переставая одновременно удивляться их способности к нашему языку, позволяющей произносить даже такие речи. – Вас надо сначала заставить, чтобы вы потом...

– Повесить всех, кого не перестреляете, и таким образом цивилизовать? – усмехнулся он.

Но тут показался плывущий нам навстречу левиафан, из тех, что мы уже довольно повстречали на этой проклятой реке: гигантский белый корабль, движущийся необъяснимой силой. С его палубы доносилась варварская музыка. Он приближался с невероятной скоростью, и наши суда стало подтягивать к его бортам. Выстрелы мушкетов потонули в грохоте, издаваемом чудовищным судном, и в визге дикарских свирелей. За кораблем шла волна...»

Я представил себе, как болела бы голова от раскаленного шлема, как тек и высыхал бы пот под кирасой и камзолом и как минимум два дубля пришлось бы барахтаться у бортов теплохода «Владимир Семенов» с риском быть действительно затянутым под его брюхо, лихорадочно нащупывая шнурок автоматически надувающегося спасательного жилета, подурачки надетого под доспехи и потому не надувающегося, как выныривал бы с выпученными глазами, почти задохшийся, а идиоты на режиссерском плоту хохотали бы, не понимая риска, и только каскадеры, изображавшие гребцов и моих рядовых солдат, смотрели бы сочувственно, и один из них, плывя рядом, булькнул бы: «Дурацкий сценарий, дурацкая постановка...»

За дверью никого не оказалось. На площадке было абсолютно пусто и даже относительно чисто – то ли кашлявший здесь всю ночь бомж прибрал за собой, то ли несчастная

уборщица вернулась в наш чертов подъезд... Только две старые лебедки, как всегда, украшали площадку, оставленные у чердачной лестницы механиками еще в прошлом году, когда наконец починили лифт...

Звонок раздался снова. Теперь он слышался явно – от телефона. Споткнувшись и едва не свалившись из-за кошки, которая, естественно, крутилась под ногами, норовя и выйти на лестницу, и не удалиться от квартиры, обругав ее и подхватив, извивающуюся, поперек живота, захлопнув пяткой дверь, я бросился в комнату, нащупал на полу у дивана, под краем сползшей простыни, телефон и снял трубку.

В трубке, понятное дело, молчали.

– Говорите, – орал я целую минуту, как безумный, – говорите же!

В трубке слышались дыхание, шум сети, ветер пространств.

– Ну, как угодно, – сказал я с внезапной аристократической холодностью и, положив трубку, отправился на кухню заканчивать завтрак. Кофе быстренько подогрел в эмалированной кружке, яичницу доел холодную, закурил за кофе, как всегда... День ожидался не самый худший, можно сказать, даже неплохой. В театре дел у меня фактически не было никаких, и даже если Дед, как обещает, займет меня в следующей его затее, то это будет нескоро, хорошо, если начнем читать осенью, а до тех пор шататься по коридорам, сидеть в буфете, мерить костюм очередного гостя, ходить на склочные собрания, стараясь не принимать участия в бесконечной сваре из-за здания и каких-то сомнительных акций, снова сидеть в буфете, и худсовет, худсовет, худсовет... Вечером же, конечно, очередная тусовка, тосковать в разговорах до начала банкета, ловить автоматически все еще возникающий шепот: «Шорников... тот самый... да, вон тот, седые усы... ну, конечно, в „Изгое“, помнишь, как он дрался... да, постарел... кто сейчас молодеет?..»

Кретины.

Как будто раньше люди со временем молодели.

В общем, пора одеваться. И, учитывая вечерние планы, кое-что придется подглядить.

Я разложил на столе одеяло, включил уют, сходил в ванную и принес воды в специальном пластиковом стаканчике, влил в этот чудесный – каждый раз радуюсь, глядя, – уют, в «ровенту», купленную, кажется, во время немецких гастролей из экономии, отдавать рубашки в прачечную и глажку там было совсем не по деньгам, выставил регулятор на «хлопок» и принялся за рубашку, извлеченную из кучи неглаженных в шкафу...

Снова позвонили, когда я уже был почти готов уходить – в бежевых замшевых неизносимых ботинках «кларк'с», в каких ребята фельдмаршала Монгомери шли по пустыне навстречу солдатам Роммеля; в вельветовых коричневых штанах с сильно вытянутыми уже коленями, оттого приобретших особо «художественный вид»; в пиджаке «в елочку» из «харрис-твида», который можно носить десять лет не снимая, только подкладка в ключья; в голубой рубашечке «ван хойзен» с мелкой, «оксфордской» белой пестринкой... Я стоял в прихожей перед зеркалом, поправлял в нагрудном кармане шелковый платок «пэйсли», повязывал вокруг шеи фуляр соответствующего же рисунка – и тут позвонили уже точно в дверь.

Я глянул в глазок. Что-то мне после всех этих звонков не хотелось открывать дверь не глядя.

Искаженная линзой глазка, как бы слегка скрученная, была видна вся площадка, и даже лестница просматривалась до поворота к предыдущему этажу. Никого там не было – только перед самой моей дверью, чуть отступив, очевидно, чтобы ее лучше мне было видно, стояла женщина, уже отпустившая кнопку звонка, но держащая руку высоко, чтобы позвонить снова.

Женщина мне была абсолютно незнакома, но поскольку я вообще очень быстро и точно замечаю детали, за те несколько секунд, что рассматривал, я успел увидеть многое.

Ей можно было дать от тридцати до сорока лет – если смотреть на не слишком светлую лестничную площадку, да еще через линзу и одним глазом. Фигуру при этом тем более не рассмотришь, однако, если сделать скидку на искажение, фигура была нормальная, не выдающаяся, но и не уродливая. Волосы были светлые, крашенные, конечно; глаза, кажется, голубые, а черты лица такие, о которых говорят «отвернулся – и забыл»: так называемый русский нос, довольно скуластая, рот небольшой, лоб прикрыт челкой... Тот тип, который уже давно выработался в Москве благодаря мощному татарскому присутствию, довольно приличному по сравнению с остальной страной питанию, влиянию европейских и особенно американских фильмов и журналов и внимательному изучению частых в столичной толпе иностранок.

Выражение лица я не совсем рассмотрел, но оно показалось мне безразлично-спокойным, как и вся ее поза.

Одега она тоже была так, что на улице тут же потерялась бы: черные плоские туфли без каблуков, черные тонкие рейтузы, черный свитерок-водолазка, широкий черный пиджак... Позапрошлого дня парижская униформа, уже и в Москве ставшая заурядной.

Она сделала движение, чтобы снова позвонить, и тут я распахнул дверь.

В ту секунду, когда женщина вытащила руку из кармана пиджака, точнее, на пол секунды раньше, я почему-то все понял, сделал короткий шаг в сторону, за стену, и дверь захлопнул.

«Пуля, вывернув ключья обивки и щепки, прошла сантиметрах в пяти под глазком и вмялась в противоположную стену, рядом с забытым с весны на вешалке плащом. Из рваной дырки в обоях тонкой струйкой высыпались штукатурка и кирпичная пыль». Допустимо и такое развитие...

4

И только присмотревшись, я понял, что вижу через глазок свою вторую жену – из женщин, с которыми я был относительно подолгу связан, встречаемую в последние годы реже всех, практически не звонившую и, уж конечно, никогда не приходившую ко мне домой. Так что ее появление на лестничной площадке было в своем роде не менее страшно, чем если бы она действительно открыла огонь по двери. Я же, будучи склонен к жанру приключенческому, довольно часто и более простые и привычные ситуации – например, небольшую прогулку по центру города с намерением в конце ее посетить своего издателя – продлеваю и развиваю мысленно именно таким образом: стрельбой, стычками и погонями.

Собственно, можно было бы долго размышлять на эту тему и даже припомнить те считанные случаи из моей жизни, когда авантюра реализовывалась не в фантазии, а в действительности. Но я уже твердо решил не отвлекаться больше от основного сюжета, который следовало бы, как школьное сочинение, назвать «Как я пропал этим летом».

Итак, я открыл дверь, и Галя вошла.

В моей жизни было довольно много женщин, вероятно, больше, чем в жизни среднего пятидесятилетнего мужчины, я был несколько раз женат, но так и не смог привыкнуть, как к рутине, к тем отношениям, которые возникают между мужчиной и женщиной через несколько минут, или дней, или лет после знакомства. Я не до конца понимаю, как могут люди, еще помнящие время, когда они даже не подозревали о существовании друг друга, и не уверенные в том, что они уже не расстанутся до смерти, – вместе, иногда даже не отворачиваясь, а то и помогая взаимно, раздеваться, снимать белье, распространяя на какие-то минуты смешивающийся запах тел, трогать чужую кожу, проникать в рот, сливаясь слюной, сплетаться ногами и наконец соединяться, подобно деталям какого-то механизма или сооружения, и обливаться друг друга секретцией, а языками, пальцами рук и ног, и сосками, и животами приникать, прижиматься, гладить, и говорить все, что приходит в голову в этот миг, и рассказывать о себе то, что никогда не рассказывают родственникам и даже друзьям, а потом расцепляться, надевать одежду и через некоторое время, иногда даже не очень большое, продлевать все то же самое с другими. И бывает, что немного спустя – месяцы или годы – они, встретившись, смотрят друг на друга как совершенно посторонние, чужие, будто скрытые под одеждой тела никогда не соединялись, не вкладывались одно в другое; а бывает, что они даже начинают вредить друг другу, намеренно причиняя зло, словно это не они когда-то были открыты, и незащищены, и близки так, как можно быть близким только с тем, кто никогда и ни за что не сделает тебе больно. Эти связи, самые, на мой взгляд, прочные и тесные из тех, которые бывают между людьми, рвутся, словно перетянутые струны, разбивая в кровь, хлестко прорезая искаженные – то ли еще любовной, то ли уже враждебной страстью – лица, но и увечья эти заживают, и уже совсем отдельные люди сходятся, сцепляются с другими отдельными людьми, и все это длится, расплзается, и цепочка, растянутая во времени и человечестве, обвязывает группы, города, страну, всю землю и всех людей.

Любой знает, что через праотца, по крайней мере, каждый каждому родственник по крови. Но родство это все же очень дальнее и, главное, давнее, через много поколений, колен. Родство же – а я чувствую это родство, воля ваша, не могу не чувствовать! – по иным человеческим жидкостям, если задуматься, прослеживается едва ли не всего мира со всем миром за какие-нибудь десять, двадцать, ну, тридцать лет. Мужья любовниц становятся любовниками жен, жены уходят от мужей к встреченным случайно чужеземцам, а оставленных мужей утешают подруги, а другие мужья ищут утешения в другом городе и находят, и звенья множатся, цепь запутывается, длится, снова складывается и затягивается узлами, конца ей нет, и даже когда кто-то умирает, ничто не прерывается, потому что звено это осталось во времени,

сквозь которое из поселка в деревню, из деревни в столицу, через океаны и пустыни тянется цепь сплетенных, сплетающихся, сплетавшихся когда-то тел.

Не причиняйте же зла никакому человеку, потому что вы не только братья, но и любовники.

А инцест... Об инцесте не думайте, было что-то такое ведь и с самого начала, когда нечто произошло с ребром. С другой же стороны... Все это лишь ничего не значащая мысль, игра неощутимого ветра на чуть рябящей поверхности сознания, под которой тишина, покой, темные неподвижные воды. Но при этом...

Однажды, находясь в небольшом, но весьма приличном и даже изысканном собрании, в публичном месте, скажу точнее – в одном из тех клубов, которые в Москве называются творческими домами и где в последние годы уже не только водку пили вхожие, но и довольно часто спорили и ссорились откровенно, как прежде только по кухням решались, – так вот, находясь в таком дискуссионном собрании, я обнаружил, что из четырех присутствовавших там женщин был я с тремя близок, причем с двумя в одно и то же время, правда, недолгое. А ведь я не донжуан вовсе, обычный человек, а в молодости и вообще был робок и неуверен с девушками.

– Входи, что же ты в прихожей-то... – сказал я Гале. Она было попыталась сбросить туфли, но я решительно и бурно запротестовал, что за азиатская манера, и слегка подтолкнул ее положенной на плечо рукой, ввел в комнату, усадил в кресло, изодранное кошкой, которая, кстати, немедленно прыгнула гостю на колени – устанавливать отношения.

– Скинь ее, будешь вся в волосах, на черное цепляется... Я кофе поставлю? – молол я нечто довольно бойко, хотя, надо признаться, чувствовал себя странно. Не виделись мы давно, она постарела, но почти не изменилась, так бывает. Смотреть на нее было любопытно, но главное – я не мог понять, зачем и почему она пришла.

– Ну и пусть волосы, – засюсюкала она, обнимаясь и целуясь носами с кошкой, что мне, конечно, понравилось, – ну и пусть волосы – волосы – волосы... ах ты красавица – красавица – красавица... кофе не хочу, спасибо... ну, значит, так ты теперь живешь, красиво, всегда ты из помойки музей устраивал... а я на днях посмотрела по второй программе, был какой-то ваш вечер, что-то со стихами, мне не понравилось, если честно... но на тебя посмотрела и думаю вдруг, надо повидаться, обязательно... а тут рядом была, но из автомата не прозванивается... но, слышу, ты трубку снимаешь, значит, дома, а меня не слышно... думаю, зайду нагло, пока рано, по делам не убежал... постарела я сильно?... нет, кофе не хочу, а вот, извини, у тебя выпить ничего нет?... нервничаю почему-то, хотя неприлично с утра, да?

– Неприлично не выпить, когда хочется, – коротко как бы бросил я, автоматически начиная партию сурового мужчины, крутого (между прочим, как попала эта калька с английско-американского *tough guy* в наш полуворовской язык?), воображая про себя то, что уже привык за все последние годы. – Водка есть, виски есть приличный, «Паспорт», коньяк есть, правда, паршивый, из ларька...

– А чего-нибудь не такого... вина какого-нибудь у тебя нет? Крепкое все...

– Насчет вина извини. Ты уж забыла... Я же вина почти не пью, только если обед какой-нибудь парадный, отказываться неудобно... Так что выбор у тебя только мужской.

– Ну, водки, что ли... Немного...

Я вынул бутылки из старого, с кое-где отклеившейся красного дерева облицовкой буфета, достал любимые свои небольшие, но тяжелые хрустальные стаканчики, быстренько выскочил на кухню, выложил на хлебную хохломскую доску каким-то чудом оказавшийся в холодильнике кусок сыру, обнаружил еще большее чудо – маленькую банку испанских оливок с анчоусами, притащил виски...

– Да не хлопочи так... Хватит, хватит... Ну, будь здоров.

Она выпила, хорошо, залпом, выловила оливку, отрезала сыру. Я налил себе виски сразу на три пальца, глотнул. Похоже, что день пойдет не по плану. Она подняла сумку с полу, порылась, достала сигареты, я порылся в карманах, поднес зажигалку.

– В мыльной опере играем, Галочка, – сказал я, – сейчас начнем вспоминать, ты скажешь: «А знаешь? Я ни о чем не жалею. Я была счастлива с тобой...» А я, сдержав горькое мужское рыдание, отвечаю: «И я никогда не был счастлив после того, как мы расстались...» И, на два голоса проплакав «Прости меня!», мы бросимся в объятия друг друга. Конец. Роли исполняли... Вы смотрели двести сорок шестую серию...

– Ты как всегда, а мне правда грустно, – она сунула сигарету в пепельницу и, как обычно, недодавила, тонкий противный дымок зазмеился. Я придавил окурочек, достал свою, закурил. Галя посмотрела на голубую пачку, вздохнула: – И куришь, конечно, эту дрянную французскую, махорку...

– Что ж делать, если кубинских теперь нет. – Я ответил автоматически все в том же ерническо-суперменском тоне, хотя вдруг понял, что она действительно расстроена, а приход ее просто странен, и объясняется чем-то вполне серьезным, и что сейчас может начаться нечто тягостное, сложное, способное не то что сегодняшней день сломать, но и еще на долгое время испортить жизнь, разрушить уже, кажется, установившийся относительный покой.

– Расскажи, как живешь, – попросила она.

– Ну как я живу... – Налил себе еще немного, посмотрел на нее, она кивнула, налил и ей. – Живу я обычно, как многие в моем возрасте живут. Слава была, книжки были, концерты вот до сих пор по телеку хоть два раза за год, а покажут... Была слава, да почти сплыла. Пишу, и даже издаю – не скажу, чтобы мало, а кто это видит? И песни поют даже... С тем же результатом: спроси сейчас любого на улице, когда он последний раз о поэте Шорникове слышал. Уверю тебя, половина в ответ поинтересуется, а жив ли этот прекрасный поэт, а другая половина, помоложе, и вовсе фамилию не вспомнит... Деньги – соответственно. Те, что тогда посыпались, прожиты. Вот кое-какое барахлишко осталось, «шестерка» во дворе ржавеет понемногу, но еще ездит, а денежки – ушли. Они со мной быть не хотят, им уважение нужно, а я их просто люблю. Нынешние же заработки... ну, на еду, ботинки купить, когда старые совсем развалятся, – все. Вот добрые люди из этих... из богатых, им спасибо. Посоветуются с кем-нибудь, кто еще наши имена помнит, да и пригласят куда-нибудь, на корабле сплавить в такие места, о которых раньше только у Хемингуэя читали, в Барселону какую-нибудь или на Канарские, извини, острова... Круиз. Кормят, напоить желающих полно: «Я извиняюсь, конечно, можно с вами будет выпить?» И после стакана на «ты», обнимать, про жизнь расспрашивать... Цепь золотая на шее, накладка «Буду помнить не забуду а забуду пусть умру», костюм спортивный шелковый... И – давай, поэт! «Асам спеть можешь? А Высоцкого знал?» Бывает, и пою, говорю, что знал...

Тут я замолчал, потому что она заплакала. Плакала она точно так же, как пятнадцать лет назад плакала, сидя на скамейке на Тверском бульваре, когда все уже стало ясно, но тогда я, помню, почти ничего не чувствовал, глядя на ее совершенно неподвижное, только заливающееся слезами, намокающее лицо, в немного выпуклые голубые глаза под водяной пленкой – только неловкость, которую испытываешь, глядя на любого плачущего человека. Теперь же я ощутил вдруг острое сочувствие и какую-то странную тревогу – не за нее, а, с некоторым стыдом, за себя, будто это меня она оплакивала, сидя в глубоком, старом, в лапшу изодранном кресле, сама наливая себе, звеня горлышком, осыпая пеплом черную свою одежду. Будто траур.

– Что с тобой? – спросил я тихо и, перегибаясь через давно уже перешедшую на мои колени и заснувшую кошку, через столик между нашими креслами, взял ее ладонь в свою. Кожа на тыльной стороне ладони была сухая, в мелких морщинках, следах порезов и ожогов

– я как-то уже и забыл, чем она занимается, эту ее постоянную возню с ножницами, булавами, утюгом... – Что с тобой, Галочка? Ну, успокойся...

– Так я и знала, знала, что ты ужасно живешь... не в телеке дело... еще два месяца назад увидела тебя на улице, ты шел, а я ехала... по Чехова... такое ужасное у тебя было лицо... горькое, знаешь... хотела приехать, но как-то неудобно, а тут по телеку... ты ужасно живешь, ужасно!

Она выпила, закурила уже третью или четвертую сигарету, достала из сумочки бумажную салфетку и осторожно промокнула глаза, которые уже успели слегка потечь, всхлипнула, успокаиваясь.

– Успокойся, – повторил я и убрал руку. – Лучше о себе расскажи. Чего ты так разжалобилась? Да так, как я живу, другие только мечтают. Нашла кого жалеть... У тебя-то как? Муж... как его... Игорь? А мальчик как? Ему... девять, наверное?

Она уже встала, вышла в прихожую, что-то быстро делала с лицом, стоя перед зеркалом.

– Двенадцать. Двенадцать мальчику. Зовут его Слава. А мужа, кстати, не Игорь, а Олег. И у меня все в полном порядке. Свое ателье. Все отлично. Только что из Китая приехала. Все хорошо...

Она оторвалась от зеркала, повернулась ко мне, заново покрашенные ее глаза опять влажно заблестели, но на этот раз слезы уже не пролились. Она сделала шаг вперед, обняла меня за шею, приподнявшись на цыпочки, и поцеловала.

– Не болей. Не расстраивайся. Не ешь себя.

Я открыл перед нею дверь, успев подхватить на руки попытавшуюся просочиться на лестницу кошку.

– Как ее зовут? – спросила Галя.

– Нана.

Она усмехнулась.

– В честь группы?

– Какой группы? – не понял я. – Это Золя...

– А-а, – она почему-то вздохнула, погладив кошку. И, уже закрывая за нею дверь, я услышал:

– Держись, слышишь? Не позволяй себя губить.

За дверью грохнул и пошел лифт. Я вернулся в комнату, снял и бросил на диван пиджак, снова сел в кресло, вылил себе в стакан остатки виски. В конце концов, дело у меня более или менее обязательное только вечером...

На полу, возле того кресла, в котором сидела Галя, я увидел сложенный листок бумаги. Выпал из сумки.

Я поставил уже пустой стакан, дотянулся, поднял – это был обычный белый лист формата «под машинку», сложенный вчетверо. Я развернул его, кошка на коленях заворочалась, протянула лапу, норовя отобрать бумажку. Я тихонько спихнул ее, продолжая читать короткую записку. Дочитал. Посмотрел на пустую темную квадратную бутылку с пестрой вертикальной наклейкой. Вылил в свой стакан всю оставшуюся водку. Выпил, съел две оливки, потом еще одну – вкус водки после виски был отвратителен. Закурил.

И стал перечитывать короткий текст.

«Мишенька! Вчера на улице ко мне подошел мужчина. В белом костюме, итальянском, высокий, пожилой. Назвал меня по имени, сказал, что твой старый друг, знает тебя очень давно. Сказал пойти к тебе и предупредить, чтобы ты был осторожнее. Он говорит, что это лето для тебя очень тяжелое и чтобы ты не знакомился ни с кем близко, а он тебя предупредить не может, потому что в Москве только один день. Мишенька, я боюсь, что это мафия или Кавказ. Он с усами, лицо темное. Я так и знала, что побоюсь тебе сказать такую глупость, ты

будешь смеяться, поэтому написала письмо и оставлю его. Пожалуйста, Мишенька, дорогой мой мальчик, будь осторожней! Я за тебя боюсь. Я тебя не разлюбила и не разлюблю, зря ты меня тогда бросил. Целую тебя, будь осторожней, не знаю, что он имел в виду, целую, твоя Гала».

Я открыл коньяк. Такой гадости я не пил давно.

В моей жизни бывали странности и прежде, но никогда до этой записки не долетал ко мне такой внятный голос оттуда, из зимнего Сретенска, такой разборчивый привет опекуна. Летом он носит белое, но почтальоншу все же надоумил в черном явиться... Какая, с другой стороны, дешевка, если задуматься, попса, как теперь говорят... Но что же, однако, он имеет в виду, что страшного сулят мне близкие знакомства в это лето?

Вероятно, что-нибудь с женщиной. Хотя каких уж только бед и хлопот не пережил я из-за горестной своей слабости, склонности, бессмысленной и непрерывной тяги, и чем особенным можно меня еще потрясти... Я был трижды женат с участием государства, фиксированного в паспорте не только где, но и с кем должен жить человек. Фактически же я был женат никак не менее восьми раз, браки эти длились по году, а то и больше, налезая друг на друга, однажды я расхотелся с двумя женами одновременно, уже сойдясь с третьей, причем, повторю, я не безумный бабник, а вполне средний в отношениях с женщинами экземпляр, и было их у меня если и больше, чем у какого-нибудь идеального отца семейства, то ненамного. Да и, согласитесь, профессия такая, что без хотя бы некоторого чувственного излишества не обходится. Просто отличаюсь я тем, что чаще, чем нормальный мужчина, ощущаю себя женатым. «Ты через пять минут уже женат», – сказала мне однажды какая-то из жен, подразумевая, что любая моя измена более опасна для существования нашей семьи, чем обычные приключения не так устроенных мужчин. Она оказалась права впоследствии. Я не умел и не научился радоваться просто близости, просто наслаждаться, хотя к собственно наслаждению очень даже склонен, чтобы не сказать – к сладострастию. Но это не мешает мне – стоит лишь пробыть с женщиной хоть сколько-нибудь достаточное для минимального сверх физиологического сближения время, а это может быть и неделя, и одна ночь, – начать думать о будущем больше, чем о настоящем, строить планы общей жизни, решать общие проблемы и чувствовать себя по уши в обязательствах...

Однажды я ужасно тяжело переживал разрыв, состоявшийся по моей инициативе. Мне было безумно жалко ее, я представлял, как, разбитая и несчастная, она забросила все свои дела, отказывается от ролей, – была она вполне заметной в своем актерском цехе, – ревет ночами, портя лицо и тем еще больше вредя своим делам... Я даже вполне серьезно опасался сердечных приступов и суицидных припадков. Но через две недели мой приятель рассказал, что на капустнике в их театре (кажется, юбилей режиссера) она была, как всегда, прелестна, оживленна, пела, пила и уехала – приятель глянул мне в глаза и улыбнулся – с молодым парнем, красавцем и быстро взошедшей звездой, гордостью их труппы. «Я выходил, они как раз отъехали к нему», – сказал добрый друг и еще раз мне улыбнулся. Я жестоко разочаровал его своей искренней радостью и необъяснимым жаром, с которым я его вдруг поблагодарил, неизвестно за что, и даже обнял. Тогда я понял, что большая часть моих терзаний объясняется явным завышением ценности собственной персоны для женщин. Я вдруг задал себе вопрос: ну, хорошо, допустим, Лена (я тогда был влюблен как раз в некую Лену, из-за чего и порвал с быстро утешившейся любительницей капустников), Лена меня бросит – что со мною-то будет? Вот придет, как я пришел к ее предшественнице, и также скажет: «Извини. Мне было с тобой очень хорошо. Но теперь я не могу... Я не хочу объяснять, почему, но не могу. Давай разойдемся по-человечески». Ну, и еще какие-нибудь пошлости, обозначающие тот простой факт, что увлечение прошло или, скорей всего, вытеснено новым. Что же я сделаю? Покончу с собой, запью больше обычного, опущусь, перестану бриться и принимать душ, брошу съемки? Да ничего подобного! – ответил я себе честно. Я буду жить, как жил, и

даже необходимость терпеть в связи с новым разрывом довольно существенные практические неудобства, поскольку мы с Леной уже съехались, устроили квартиру, из которой мне пришлось бы уйти, не привели бы меня в смертельное отчаяние, как-нибудь устроился бы, потерпел... Главное – продолжал бы жить, и смеялся бы, и с какого-нибудь спектакля, а то и капустника через пару недель уехал бы с кем-нибудь. Тогда же, если не ошибаюсь, я впервые и представил себе ту цепь связей, любовей, длительных или мгновенных сцеплений между мужчинами и женщинами, цепь, опутавшую весь мир, которая в конце концов и должна объединить мир и мирь, world and peace, и когда-нибудь будет написана наконец не «Война и мир», а «Мир и мирь», и это и будет конец света, а отнюдь не какой-то идиотский гриб. Затрубят трубы, и поднимутся мертвые, чтобы занять свои места в цепи, и мы все двинемся держать ответ за любовь.

Сумерки мало меняют мою квартиру, потому что я почти никогда полностью не отодвигаю темные и плотные шторы. В сумерках я допил коньяк, умылся, крепко вытер лицо свежим, жестким после прачечной полотенцем, снова старательно оделся, взял с вешалки твидовую панаму – в последнее время даже редкие узнавания на улице стали почему-то раздражать, а любая шапка сильно меняет внешность – и отправился по намеченным вечерним делам. Какой-то прием, названный, естественно, презентацией... Одни и те же, большей частью знакомые люди, выпивка, закуска стоя, разговоры об абсолютно неинтересном... Но жить без этого было уже нельзя, потому что и роли, и прочие все необходимые для жизни вещи можно было получить только в таких местах. Тусовка, только тусовка, ничего, кроме тусовки.

К тому же я не выношу вечернего одиночества дома.

Я пошел пешком, цель была недалеко, в пределах получасовой прогулки, да и садиться за руль после выпивки я все-таки избегаю. И поэтому все чаще простаивает моя бедная «шестерочка», догнивает под едкими московскими дождями... Я шел дворами и переулками, механически отмечая про себя их новые старые названия, косясь на вездесущие «мерседесы», въехавшие тяжелыми своими задами на тротуары, на бесчисленные вывески меняльных контор, обходя приткнувшиеся друг к другу стеклянные коробочки ларьков, набитые большими пластиковыми бутылками с жидкостями химических цветов – когда-то в витринах аптек стояли стеклянные шары с таким ярким содержимым, которое изображало, вероятно, яды... Я шел, поглядывая на всю эту новую жизнь, которая для меня и тех, кто постарше, так навсегда и останется новой, а для тех, кто моложе, – просто жизнь, я шел от Пресни в сторону Смоленской и вдруг ясно понял, что предупреждение мне сделано, и предупреждение серьезное, а теперь уж все зависит от меня, и, если не остерегусь... Пошел дождь, я развернул зонт, захваченный и из предусмотрительности, и для завершения английского стиля. За последние два дня сильно похолодало, будто не разгар лета, а середина осени. После чудовищно липкой жары порадоваться бы, но унылый рассеянный свет сразу заставил забыть потные муки и одновременно испортил настроение, и никакой радости от прохлады не было, вместо нее пришла обычная осенняя тоска, предчувствие ноябрьского отчаяния, хотя до ноября еще было чуть ли не пол года...

– Скажите, а вы аид или нет? – услышал я и, конечно, вздрогнул, как вздрогнул бы, неожиданно услышав такое в пустом переулке, любой из вас.

Непонятно откуда взявшийся, передо мною стоял человек. Весь в белом.

5

Собственно, путь мой на дно в то страшное лето и начался с появления этого человека. Потому что записка, брошенная Галей на ковер у кресла, была, если говорить всерьез, скорее попыткой остановить меня в самом начале этого пути, не дать даже тронуться в опасном направлении. Человек же, возникший передо мной в Девятинском переулке, стал как бы привратником или, точнее, указчиком ложной дороги, ведущей в ад, в Ад. В Ад.

Как я уже сказал, он был весь в белом, а именно: в белых парусиновых ботинках с квадратными носами, на красноватой резиновой подошве; в белых (или, скорее, светло-серых) брюках (пожалуй, штанах) из сурового полотна, что шло на дачные шторы и мебельные чехлы, с застегивающимися на белые пуговицы хлястиками-стяжками по бокам; в слегка кремового оттенка пиджаке из настоящей китайской чесучи (или чесунчи?) с большими накладными карманами и опущенными, как бы немного оплывшими (как раз свечного, воскового цвета) лацканами; а под пиджаком синевато-белая, после стирки с синькой, поплиновая рубашка (точнее, наверно, сорочка) с узкими, длинными углами воротничка, наглухо застегнутая, так что воротник завернулся углами вперед; без галстука. Все грязное, с черными полосками по воротникам и манжетам, а штаны еще и в недвусмысленных рыжих пятнах.

Это был очень старый – весь в пигментных пятнах по лысому черепу и тыльным сторонам кистей, с густыми седыми волосами, лезущими из носа, ушей и прорехи расходящейся на груди описанной выше рубашки, косолапый, из-за чего были сбиты, смяты задники упомянутых туфель, с пропотевшими подмышками и лопатками – еврей. С приплюснутым, немного звериным носом и широким лягушачьим ртом, коротконогий, с непропорционально маленькими ступнями и ладонями.

Откуда он здесь взялся, эта мерзкая антисемитская карикатура на моего inferнального хранителя, под вечер в Девятинском переулке? И почему я его раньше не заметил? И что он от меня хочет?

– Так вы айд или нет, я вас спрашиваю? – раздраженно повторил он, и только со второго раза я понял вполне, в общем, простой вопрос. Ответил же слишком серьезно и точно:

– Ну, допустим... Что из этого следует?

– Так вы ж должны помочь аиду! – вскричал безумный старик. – А вы в бизнесе или что? Я сам с Украины, вы ж знаете, какой там антисемитизм, так я уехал в Германию как обязанный ими чтобы принять еврей, ну, даже подженился там, она, знаете, с Австрии, но очень хорошая женщина и совершенно молодая, у ней свой бизнес, стайлинг и вообще, по-нашему, портниха дамская, так бабки у нас есть, но я хочу же делать деньги, как положено еврею, и хочу вас спросить как интеллигентного человека, а можно, допустим, если еврей с Украины или с Германии, все равно, открыть в вашей Москве, например, взять кафе или просто кнайпу, потому что ж мне положена льгота как участнику вова, но вашей москальской прописки, конечно, нет, так я хочу написать вашему Ельцин, или пусть Лушкин, бургомайстер, чтобы как ветерану помогли, и скажите мне, я же вижу, что вы интеллигентный человек, знаете все, у вас наверняка есть бизнес, они допомогают еврею, мне шестьдесят восемь лет, жена молодая еще, так не думайте, ей сорок шесть лет, а я с ней имею каждую ночь, и пусть будет свой бизнес, а?

Все время, пока он нес эту околесицу, я стоял молча, разглядывая его последовательно сверху вниз и как бы кивая, как бы без слов одобряя все, что он бормотал, как бы обещая ему, что айд аиду поможет. Почему у меня возникла эта ужасная привычка поддакивать, соглашаться, уступать? Причем это же совсем не значит, что я действительно соглашусь или уступлю – ничего подобного, стоит напиравшему на меня отвернуться, пропасть из поля

зрения, выйти из контакта, как я тут же обзову его, хорошо если идиотом, никаких уступок и не подумаю делать и вообще укреплюсь в своем мнении, но уже останется нечто – ведь своим согласием я как бы пообещал...

Я отвлекся этой, увы, привычной мыслью и не заметил, как старик вдруг перешел к совершенно новой теме, причем излагать ее начал столь же новым языком и даже интонации южно-еврейские утратил.

– Видите ли, вам кажется, что жизнь ваша устоялась, – он вздохнул, но и вздох был не местечковый «э-хе-хе-хе-хе, вейз мир, почему несчастье всегда найдет голову еврея, и этот еврей как раз таки я», нет, вздох был сдержанный, едва слышный, и он продолжал свою новую речь: – Вам кажется, что уже ничего существенно нового с вами не произойдет, что так и доживете, в большем или меньшем комфорте, приличном достатке, в не влияющих на судьбу связях, фактически без близких отношений с кем бы то ни было, поскольку можно не считать близкими отношения, не меняющие жизнь...

Потрясенный совпадением того, что говорил этот странный, как бы из двух персон состоящий старик, с тем, о чем я думал в последние дни неотступно, я перебил его:

– Да как раз теперь я уже так не думаю, наоборот, вы знаете, у меня возникло чувство, что я вот-вот вступлю в полосу таких перемен, о которых уж с молодости забыл и думать, и что Бог снова обратил на меня взгляд и начинает посылать мне то, что наполняет дни жизнью... Но, простите, как вы угадали, что именно мысли об этом мучают меня последнее время? Вы так странно говорите...

– Ему странно!.. – раздраженно пожал плечами еврей. – Вы, случайно, не юрист будете? Мне нужен юрист, я сам сейчас с Германии, а вообще с Украины, так я хотел узнать у юриста по льготам для ветеранов, или их нет? Я так скажу вам, как аиду, у вас умное лицо, так вам я скажу, как в Германии даже такой пожилой, как я, может поджениться, и у бабы есть гельд...

Он продолжал еще что-то нести про бизнес и бабки, но оцепенение уже сошло с меня, я обогнул его, успевшего в последний момент сунуть мне какую-то мятую бумажку, и быстро пошел к перекрестку, вон из переулка.

На ходу я взглянул на бумажку. Это была рекламная листовка какой-то из новых этих бесчисленных контор, торгующих жильем. Текст начинался так: «Ваша недвижимость ждет вас...» Апокалиптический оттенок этого сообщения окончательно расстроил меня, и весь остаток пути до веселого ужина я прошел уже не просто огорченный, а убитый, и чувствовал, что лицо у меня искажено неприятной гримасой, как от физической боли, и встречные поглядывают, но поделать ничего не мог. В словах старого сумасшедшего прозвучало то, что я не только сам чувствовал, но и говорил себе вполне внятно, однако, произнесенное вслух, это стало совсем невыносимым.

Я понял именно тогда, выходя из Девятинского к Смоленке, что поделать ничего нельзя и в это лето мне предстоит пропасть. Можно было произнести то же самое и с другим удачением – пропасть, и об этом я думал тоже вполне всерьез.

В конце концов, не слова этого мыслителя, так удачно женившегося, а просто его появление, безумие, сам вид безусловно свидетельствовали: нечто началось, первый указатель пройден.

Большой полуосвященный зал. На стенах плохая живопись, расставлена дешевая, «под роскошь» мебель, несколько длинных столов, накрытых для фуршета, – оливки, рыба, ветчина, виски, джин, водка, апельсиновый сок в кувшинах и все, что бывает на такого рода фуршетах. Публика частью выстроилась в очереди у столов, за которыми молодые люди, не глядя ни на кого, раздают еду, частью уже с тарелками и бокалами сбилась в небольшие беседующие группы.

Входит поэт в летнем костюме и с женой. Быстро наполнив тарелки, они присоединяются к той группе, где стою и я, Михаил Шорников.

Поэт (*выпив и закусывая*): Здрасьте, здрастьте... А кто, господа, сегодня «Беспредельную» читал?

Политик, певец, еще один политик, политикесса-актриса, просто актриса, писатель, другой писатель (эмигрант) и М. Шорников: Я читал, читала! А как же! «Беспредел» обязательно! Надо их читать... Противно, а надо, ничего не поделаешь. Только их теперь и читаем, да, пожалуй, «Надысь», хоть и негодяи, конечно, а надо читать...

Еще один политик (*выпив и закусывая*): А я бы тем, кто «Надысь» читает, руки бы не подавал. Вы их своими деньгами поддерживаете, а они вас потом и повесят!

Политик (*благодарушно выпивая*): Авось не повесят... Никто никого не повесит... Я вот, например, с удовольствием «Жлоба» читаю. Название остроумное...

Писатель (*раздраженно выпивая*): Это не остроумие, это стеб! (*Политикесса-актриса заметно вздрагивает и как бы краснеет.*)

Политик (*благодарушно выпивая*): Очень остроумное название, и бумага, и полиграфия... Просто эстетическое удовольствие получаю...

Политикесса-актриса (*горько, перестав закусывать*): Вот мы здесь выпиваем, закусываем, светские разговоры ведем, а в Сретенске театр закрылся, денег нет... Я запрос внесла, а вы (*показывает в еще одного политика вилкой с куском осетрины холодного копчения*) этот запрос похоронили! Я теперь как представлю себе Сретенск без театра, спать не могу...

Просто актриса (*с удовольствием закусывая*): Кстати, у тебя вид усталый. Хочешь, позвоню одной даме, она тебе биоэнергетику наладит? И похудеешь заодно... (*Политикесса-актриса с ненавистью в лице отходит к другой группе.*)

Другой писатель (эмигрант) (*без тарелки, курит*): Я помню, два года назад заехали ко мне ребята в Эл-Эй... Ну, Коля Пяткин, Зураб, Валечка Прихожая, Витька Полоумов... В общем, вся наша компания пицундская... Пошли в ресторанчик малайский, посидели... А сегодня я иду по Тверской, смотрю – представительство открылось малайской авиакомпанией... Вот такое совпадение, господа, вот так...

Писатель (*лицо искривлено раздражением, закусывает*): Какое тут, к черту, совпадение! Ты, Володя, просто жизни нашей теперешней не понимаешь, извини... А Витька Полоумов просто сволочь и в «Надысь» печатается! А-а, не знал? Вот так. В малайском-то ресторане... (*Роняет вилку, наклоняется, роняет бокал и тарелку.*)

М. Шорников (*допив*): А пойдете-ка, ребята, к столу да нальем себе выпить, пока есть чего...

Поэт (*идя рядом с Шорниковым*): Миш, а ты не знаешь, случайно, по какому поводу сама тусовка?.. И чего-то народ вяло подтягивается, ждут, что ли, кого-то попозже?..

М. Шорников (*наливая себе*): А черт его знает... Тебе виски?

Поэт (*наливая себе*): Нет, джинну.

Сидя ночью на кухне, наливая и наливая купленной в ларьке по дороге с тусовки какой-то фальсифицированной дряни, я плакал о своей жизни. Принято считать, что брошенные женщины плачут в одиночестве, и бедная девичья подушка намокает горькими слезами, а утром опухшие веки, и проявившиеся морщины, а надо жить, прилично выглядеть, ловить новую возможность, которая всегда может быть, – все это так, но, увы, не только, не только дамы, поверьте мне! По-другому плачут мужчины, но плачут, и еще как... Вот, например, сидя на кухне с бутылкой, добивая многотерпеливую печень, не брошенные, а бросившие, да в том ли дело, кто кого бросил? Не в самолюбии дело, ей-богу.

Как и положено пьющему в одиночестве мужчине, я думал о собственной жизни, о жизни вообще, о женщинах брошенных и еще нет, о профессии и своем в ней месте, о безусловно скорой смерти, о пьянстве, о поражении как итоге всего и о прочей ремарков-

ско-хемингуэевско-аксеновской чепухе, давно вышедшей из моды вместе с пьянством, женолюбием и прочей романтикой.

Когда все они начинали, думал я, у них была большая фора. Папа писатель, академик, посол, зэк, дворянский осколок, сталинский сатрап, гэбэшный генерал, газетная номенклатура... Квартира на Восстания, на Кутузовском, в левом крыле «Украины», на Горького, в Лаврушинском... Дача в Серебряном Бору, в Архангельском, на Пахре, в Переделкине, в Краскове... Машина от рождения. Знакомые. Университет. Знакомые. ВГИК. Знакомые. МИМО... Коктебель, Дубулты, Пярну, Гагры...

У меня тоже все было.

Деревенская школа.

Дядя Юра, дядя Сережа, дядя Гена и дядя Яша.

Случайное поступление.

Случайный успех.

До сих пор не могу понять, как все это удалось, – цепь случаев, удач, везений, прорывов, до сих пор не верю, что это я был в Париже, и там обо мне писали, и я стоял рано утром на Одеон, только что отпустив такси после круглосуточного празднования с нудными и подобострастными рецензентами сенсации по имени Михаил Шорников, в новеньком, но хорошо сидящем вечернем костюме, вы совсем не похожи на русского, месье Шорникофф, я стоял на Одеон, на островке у входа в метро, напротив кинотеатр и маленькая пиццерия, на углу банк, и я никак не мог найти улочку, где жил в небольшой, но вполне стильной гостинице, и спросил на тогда еще никому не годном английском дорогу у мужичка в газетном киоске, и он стал объяснять руками и по-французски, но вдруг запнулся, полез в журнальные кипы, вытащил свежий «Экспресс» и, тыкая в обложку, с которой смотрел я, и даже в том же галстуке, стал восторженно объяснять уже подходившим покупателям, что вот же, вот этот знаменитый русский, вот он стоит, он только что спрашивал у меня, как пройти в гостиницу «Аббатство», вот он! Я же улыбался вполне безразличным утренним французам и слегка плыл от чудовищной ночной, в поддержание патриотической репутации, выпивки и, главное, от того, что я стою на Одеон, знаменитый, среди парижан.

И портрет, огромное, в человеческий рост, мое лицо в Эдинбурге.

И полный, битком, с сидящими на ступеньках в проходе, зал в Сиднее.

Преувеличенно радостные знакомства – а, ну наконец-то! звезда нового времени! – в Берлине.

Полный зал, камеры, свет, робкие учительницы в очереди за автографами и снисходительные признания правительственных поклонников в еще не сгоревшем ВТО.

Контрастно бурные после других участников аплодисменты на благотворительных концертах.

Разговоры на «ты» со знаменитыми, вошедшими в знаменитость, когда я был на первом курсе. Ваш поклонник, Миша... Спасибо, Леонид Степаныч... Да какой там Степаныч, Леня... Ленечка, привет, целую... Миша, привет, зашел бы в мастерскую...

Надо было получить все это вовремя. В тридцать или даже до, когда все они – Коляша, Витька, Ленечка – уже получили, уже пили в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, ДЖ, обнимались, целовались, сходились и расходились со своими женщинами, сдержанно воевали с властями, уезжали, внедрялись в ту жизнь, давали пресс-конференции... Был бы нормален, не чувствовал бы так явственно мистики и незаслуженности в любом успехе, не ждал бы конца еще до начала, не предвидел бы последствий раньше причин, был бы счастлив в день счастья.

В старости нельзя пережить молодость, и никакое здоровье, никакие силы не помогут – старость есть знание последствий, и уж если ты их знаешь, от них не отвернешься, не сделаешь вид, что невинен, решителен и глуп, а даже если и притворишься и бросишься как

бы очертя голову в как бы авантюру, то обязательно попробуешь подстелить соломки и тем все испортишь: разбиться-то все равно разобьешься, а в полете свободы не будет.

Я налил еще, глянул на бутылку сбоку, вылил остатки и перед тем как выпить и, проверив старательно, все ли выключил, поползти к постели, с удовольствием принял обязательную перед сном мысль: а все же я их всех достал, и встал рядом, и постоял там, на обдуваемой этим сладким ветром тесной площадочке, на которой совсем немного места, и куда многие либо сверху спустились, спланировали, либо сбоку десантировались, либо встали еще до тектонического сдвига, вынесшего площадку в высоты, а я вскарабкался, влез, и даже почти не сорвался, и утвердился, а что теперь до площадочки этой никому дела нет и другие вершины озарены новым светом – что ж, не я первый и не один оказался в тени. Выпьем, Миша, сказал я себе, черт с нею, с печенью, выпьем – мы побывали где хотели, стоит отметить успех экспедиции, мы дошли до полюса, капитан Гаттерас, и лучше спиться на обратном пути, в низких широтах, чем сбрендить по пути к цели. За обратный путь, Миша, пусть он будет короток – укоротим же его, чем сможем, хотя бы и этой гадостью, если на скотч денег нету. Выпьем, дружок, за то, чтобы в нижних широтах приветливые аборигены и их женщины оказывали гостеприимство усталому путешественнику, и чтобы одна из них, ясноглазая и солнцеволосая...

Тут-то и зазвонил телефон в первый раз.

Зная, что я в этот вечер один, проверяла мое одиночество Таня, бесконечно длинного романа героиня, наваждение проклятой моей натуры, телесный мой тиран. Проверяла молча.

– Говорите! – зарычал я в трубку, с сожалением, но и с удовольствием – последний же – отставив стакан. – Говорите же!

– Это я, – детским, лживым голосом пропел телефон. – Ты один?

– Да, милая, я один, – еще более лживо проворковал я. – А ты?

– Я тоже. Я люблю тебя...

– Я тоже тебя люблю...

Так мы поговорили несколько минут. Боже, как можно так лгать?! Ведь я – не знаю, как она, но думаю, что и она тоже, – хотели только одного: быстро, по-деловому, договориться, кто к кому придет, скорее всего все же я к ней, во-первых, я в практических вещах джентльмен, во-вторых, у нее район страшноватый и безнадежный в смысле ловли машины; быстро съехаться, выпить для порядка по рюмке (хотя мне уже и так много, есть вероятность неудачи из-за алкоголя); лечь в постель и сосредоточенно, с опытом, приобретенным в совместных многолетних трудах, заняться сначала ею, общими стараниями, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот, а потом и мною, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот; и сразу заснуть, повторить на рассвете, и разъехаться, и больше ничего до следующего вечера, а там желания могут и разойтись, потому что ее опять потянуло бы на полный повтор, у меня же могли возникнуть обстоятельства – но ни о чем таком мы говорить не стали. Мы говорили о любви, а раздражение от невысказанного нарастало, и в конце концов мы поссорились.

Я положил трубку. Тут же раздался междугородный.

Это звонила Женя, с которой я прожил даже не годы, а десятилетия, да как бы и сейчас жил, хотя уже давно она работала в Питере, где, как оказалось, ее жаждала концертная общественность, а я оставался в Москве. Ситуация стала удобней, но оставалась такой же фальшивой.

– У тебя было занято, – сказала она, и я сразу расстроился от этих простых и выразительных интонаций, от того, что с такими возможностями она не смогла по-настоящему выбиться, все ее чертовы безразличие и высокомерие. – Я тебе звоню с того времени, как кончился концерт, а у тебя все занято...

– С Колькой трепались, – сказал я. – Ну как ты там? Здоровая?

– Ты опять пьешь, – вздохнула она. – Я всегда слышу, когда ты выпил...

– Ну, немного совсем, на презентации, – я врал без энтузиазма, да и почти не врал. – Так что насчет здоровья? Ты не простудилась?

И опять было минут десять лжи. Между тем честный разговор мог состояться, но мы были неспособны решиться на него, да и не знаю, кто был бы способен. Сказать же следовало мне: да, я говорил с одной женщиной, но не в ней дело, а в нас, я очень рад, что ты сейчас в Питере, и было бы неплохо что-нибудь сделать, чтобы так все и оставалось, например, мою квартиру можно поменять на роскошную, хоть на Невском, для тебя, а я тут устроюсь, не волнуйся, и в любом случае это будет лучше для меня, чем снова каждый вечер чувствовать, что жизнь кончается... И сказать следовало ей: да, я давно поняла, что ты только и счастлив, когда я в отъезде, что давно уже хочешь ты оторвать свою жизнь от моей, но у меня нет моей жизни, и даже здесь я остаюсь твоей, и все это знают, и если этого не будет, мне не нужна квартира ни на Невском, ни на Тверской, я смогу жить и в деревне, и никто не вспомнит об этом, и потому я не отпущу тебя, пусть кончится твоя жизнь, но продлится наша...

– Ну, целую, – сказала она.

– Целую, – ответил я, повесил трубку, и телефон немедленно зазвонил снова.

– Слушай, я жутко соскучилась, – сказала Валя, с которой я расстался вчера утром. – Приезжай, а? А хочешь, я приеду...

Это были первые честные слова, которые я услышал за весь вечер, включая светские беседы, хотя и тут была не вся правда – Валюта опустила продолжение: «А там, может, останешься, или я останусь, и будем жить вместе, и вместе появляться на людях, и зарегистрируемся в интересах экономии на гостиницах, и тогда я буду стареть без страха и не стану бояться ночей без мужика...» Но все же хотя бы сказанное было искренне и просто.

Поэтому я сказал: «Подожди минуту, моя хорошая, ладно?», допил стакан, договорился с Валею, что приеду к ней утром и побуду часок, перезвонил Тане и сказал, что сейчас выезжаю и буду, если не возражает, до утра, а потом набрал восьмерку... гудок... восемьсот двадцать... номер в гостинице.

– Женечка? Это я. Да нет, я совершенно трезвый. Просто пожелать спокойной ночи и попросить, чтобы ты не расстраивалась...

– Ты разбудил меня, – сказала она, и я понял, что даже в самых запущенных случаях человек иногда бывает искренен – только в ответ на искреннее чувство.

– Не сердись, – сказал я смиренно, положил трубку, оставил кошке еды на сутки и вышел в ночной подъезд, заселенный бродягами.

Машину я поймал сразу же.

Это был очень фасонистый белый «жигуль-восьмерка», за рулем которого сидел человек в черном плаще и черных автомобильных перчатках – без пальцев и с дырками. Он повернул ко мне лицо, и я увидел, что его левый глаз вертикально растянут, а через лоб тянется глубокий шрам-вмятина. Такой след мог бы остаться от удара саблей по лицу слева.

6

С детства, будучи полным и типичным маминым сыночком (да еще и бабушкиным предметом круглосуточного попечения), впечатлительным читателем и рано созревшим чувственником (соски на груди набухли, ни черта не могу понять, прижимаю их с естественными целями, замирая, жду, смотрю вниз, а, вот, вот, на черном сатине уже проступает... и, высыхая, превращается в проклятое, белое) – с детства я не переношу вида разрушенной или разрушаемой плоти. Шрам на животе отца, обезглавливаемая на чурке курица, продырявленная оставшимся в доске гвоздем ладонь друга, кровь, текущая по лицу пьяного, вызывали одинаковое содрогание, быструю тошноту. Впрочем, тошнило от многого: от угольного смрада паровозов, откачки в Ли-2 между Сталинградом и Адлером, от пыли, влетающей под брезентовый полог «виллиса», от комков в каше, от запаха, свойственного Генке Качаеву, – но сильнее всего и почти сразу до рвоты от вида живого тела, целостность которого была нарушена.

Бог миловал меня самого от травм, хотя, конечно, Всевышнему в четыре руки помогали и две женщины. В городке, где преступности не было как таковой – если не считать повторявшегося ежегодно сюжета: солдат бежит из части с оружием, комендантская рота его ловит в степи, соседка говорит матери «изнасиловал», мать замечает меня и уводит соседку в прихожую, плотно прикрыв дверь, занимайся, занимайся, арпеджио, потом Гедике, – в нашем тишайшем городке мать провожала меня и в школу, и в музыкальную лет до одиннадцати, гулять позволялось до восьми, в лагерь не отправляли ни разу, что будет, если раскроется тайный поход в степь (а уж тем более на реку), я даже старался не думать. Драки в классе и на школьном дворе всего раз или два кончались кровью, но из носа, то есть как бы не совсем кровью, без видимых разрывов, разломов, без открывания внутренностей! Вот чего я боялся – внутренностей, вторжения в тайное, скрытое, в жизнь под кожей, под покровом. А потом я очень быстро вырос, перерос весь класс и длинными руками не то чтобы повергал противников, а просто удерживал их на расстоянии, чаще всего схватив за запястья. И с велосипеда почти не падал, а если падал, то не обдирался так, как другие, – чуть не до кости свозя локти и колени. Первую ерундовую операцию сделали мне уже семнадцатилетнему, нарыв под мышкой, известный в народе под названием «сучье вымя», результат первой студенческой поездки в колхоз, спанья не раздеваясь, холодной грязи вокруг. Я хорохорился под местной анестезией, шутил с врачихой, потом скопил глаза, увидел входящий в меня синеватый скальпель, услышал хруст – и потерял сознание. Тогда еще говорили «отключился», а не «вырубился»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.